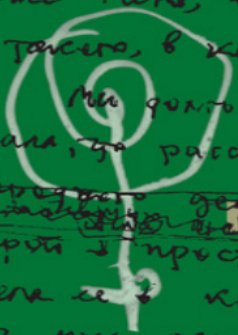
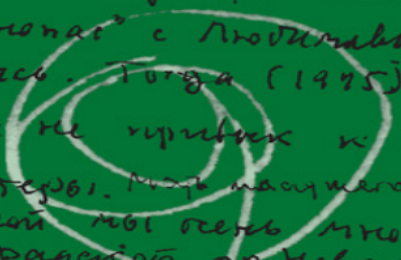
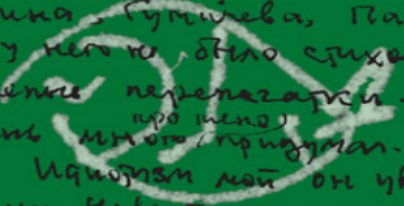
Наталья Трауберг

ГОЛОС ЧЕРЕПАХИ







SHOUT
SHARE
IT

Annotation

В сборник вошли статьи, эссе и переводы, сделанные Н. Л. Трауберг специально для журнала «Страницы: богословие, культура, образование», издаваемого Библейско-богословским институтом св. апостола Андрея. Наталья Леонидовна стояла у истоков этого журнала и у основания института, читала в нем лекции, работала над изданием книг. Всю свою жизнь она отдала переводу, хотя называла свою профессию «переписчик», потому что считала, что переводить книги нужно с учетом российской ментальности и особенностей русского языка, при этом она умела сохранить и красоту оригинала. В искусстве перевода ей не было равных. Но и ее оригинальные произведения не менее интересны, чем переводы. Они небольшие, но емкие, метафоричные, иногда парадоксальные, заставляющие читателя по-новому взглянуть на привычные вещи и узреть подлинный смысл явлений. Некоторые из вошедших в сборник произведений нигде кроме «Страниц» не публиковались.

- Наталья Трауберг
  -
  -
  - Глава I
    - Профессия – переписчик[1]
    - Королевский злодей[2]
    - Только детские книги[3]
  - Глава II
    - Неизвестный Честертон[5]
    - О Малькольме Маггридже
    - О книге «Экуменический джихад»[7]
  - Глава III
    - На вершине земли[8]
    - Мир под оливами[9]
    - La sua voluntade[10]
  - Глава IV
    - Г. К. Честертон
    - П. Г. Вудхауз
    - Саймон Тагуэлл
- notes
  - 1
  - 2
  - 3
  - 4

- ○ 5
- ○ 6
- ○ 7
- ○ 8
- ○ 9
- ○ 10
- ○ 11
- ○ 12
- ○ 13
- ○ 14
- ○ 15

Наталья Трауберг
Голос черепахи
Сборник

Издательство ББИ благодарит Викторию Ивлеву за любезно предоставленное фото

Цветы показались на земле,
время пения настало,
и голос горлицы слышен в
стране нашей.

Песнь песней 2, 12

В этот сборник, которым Библейско-богословский институт св. апостола Андрея отдает дань памяти Наталье Леонидовне Трауберг, дорогому для нас человеку, вошли статьи, эссе и переводы, сделанные ею специально для нашего журнала «Страницы: богословие, культура, образование». Наталья Леонидовна стояла у истоков этого журнала, ласково называла его «Странички», входила в его редколлегию и редколлегию альманаха «Мира Библии», писала и переводила, предлагала авторов, горячо принимала участие в обсуждениях номеров, как переводчик и редактор работала над изданием многих книг ББИ. Наталья Леонидовна стояла и у истоков института, можно сказать, она была нашей крестной, именно она подсказала имя апостола Андрея как святого покровителя ББИ. Да и вообще, многое в институте не могло свершиться без нее, Наталья Леонидовна была и, надеемся, остается ангелом хранителем нашего института.

Многие годы она читала в ББИ курсы «Английская христианская литература» и «Основы литературного перевода и редактирования», ее лекции всегда были праздником, подлинным «пиршеством духа», открытием новых миров и откровением о нас самих. И о чем бы она ни говорила – о Честертоне или короле Артуре, Шекспире или Юлиании Норичской, Вудхаусе или св. Патрике – она умела показать и их, и нас в свете Евангелия. Одним парадоксальным словом она могла разрешить труднейший конфликт, одной афористичной фразой опрокинуть прочно устоявшееся заблуждение, в записке, написанной микроскопическим почерком (она писала их во время конференций, докладов, слушая собеседника), выразить всю мудрость мира. Вообще в ней был какой-то секрет, тайна бесконечного обаяния, выражавшаяся одновременно в глубинной мудрости и детской простоте. Часто, как бы невзначай, с королевской щедростью и простодушным смирением она изрекла свои парадоксальные мудрые сентенции, приговаривая: «да это и коту понятно». Это было одно из любимых ее выражений. Но мы, видимо, были не столь понятливы как кот, а потому готовы были слушать вновь и вновь ее лекции и беседы, без конца перечитывать ее переводы и эссе. Кстати, кошек она считала

райскими животными, и они, действительно, оказывались мудрее иных человеков. Не случайно, председателем Честертоновского общества, как известно, был избран ее кот Кеша.

Наталья Леонидовна Трауберг посвятила себя особому виду служения – переводу, хотя сама называла свою профессию «переписчик», считая, что тексты, написанные на английском, испанском или каком-то другом языке, возможно переводить только с учетом специфики русского языка, российской ментальности и особенностей нашего читателя, при этом она как никто умела сохранить и передать всю красоту оригинала. В искусстве перевода ей не было равных. Недаром англичане шутят, что Честертон в переводах Трауберг гораздо интереснее, чем в подлиннике.

Перевод она выбрала именно потому, что видела в нем ремесло, смиренное ремесло, в котором мало места для самовыражения, переводчик как бы скрывается за автором. Он – лишь эхо автора, только его голос. Но именно Наталья Леонидовна Трауберг доказала, что ремесло может быть высочайшим искусством, что голос – это чуткий музыкальный инструмент, который может быть послушен Духу. Она переводила многих английских, испанских, американских, португальских и прочих авторов, но, конечно, сердце ее было отдано англичанам, а среди англичан – Честертону и Вудхаусу, которых она считала истинно райскими писателями.

«Голос черепахи» – это еще одно из любимых выражений Натальи Леонидовны. С ее легкой руки оно стало символом нелепого перевода, когда переводчик, не слишком чуткий к слову, но полный амбиций, промахивается и попадает мимо цели. Так некто, не распознав в тексте цитату из Песни песней, распространенное в библейской поэтике выражение «голос горлицы» перевел как «голос черепахи». Эта двойная нелепость (черепахи вообще не имеют голоса и уж точно не поют!) стала излюбленной метафорой во всех наших разговорах о переводе.

Голос самой Натальи Леонидовны был сродни голосу горлицы – он возвещал время пения, время рая; она говорила тихо, скороговоркой, почти лепетала или, скорее, журчала, но это журчание обладали мощной силой духовного воздействия. К ее слову прислушивались многие. Она была камертоном, не дающим сфальшивить. При этом никогда не стремилась стать учителем и всячески избегала пафоса, не любила выделяться, не выносила яркости, броскости, вычурности. Казалось, из всей палитры Наталья Леонидовна выбирала серый цвет, но, как она писала, это было «любимое Честертоном “сияние серого цвета”, в котором лучше всего видны камни Нового Иерусалима».

Глава I
Профессия – переписчик

Профессия – переписчик [1]

Наверное, многие подумают: «Это называется рирайтер» – и ошибутся. Так называется не «это», а что-то значительно более логичное. Какой-то человек, разбирающийся в своем непосредственном деле, коряво говорит или пишет. Другой придает его речи внятность, а то и блеск. В пределе – Моисей и Аарон.

Переписчик – совсем другое, странное, новое занятие. Берешь текст, полный ошибок, особенно – связанных с реалиями; синтаксически – рыхлый, если не хуже; лексически – насыщенный иностранными словами, а то и чем-то вроде фени. Смотришь на оригинал, сначала надеешься править, потом, махнув рукой, переводишь… С той помехой, что права на ошибку уже нет, себя править негде, надо вписывать между строк или на полях.

Если оставить, как было, так и напечатают. Некоторых писателей уж очень жалко! Конечно, всех не перепишешь, но – пытаешься.

Кто же и как создает первоначальный текст? Этого я еще не поняла. Почти все они – очень милые; почти все – настороженно-обиженные. Это прискорбное качество способствует тому, что большое невежество пробуют погасить большими претензиями. Претензии приводят к достаточно печальным результатам: человек, не знающий что Неро – это Нерон, Фило – Филон, Дувер – Дувр (все примеры из жизни), берется не за чтиво для лотков, а за любой, просто любой текст – религиозный, философский, сложнейшего писателя. Текст требует огромного опыта, сомнений, самопроверок, тончайшего вслушивания – а его гонят на компьютере, часто даже не прочитав (тоже из жизни).

Прямые ошибки, все эти «голос черепахи» (*turtle* в данном случае «горлица»), «король Саул из Тарса»(«Савл Тарсянин»), «у Нанка Димиттиса» (*Nunc Dimittis* – «ныне отпущаеши») – далеко не самое страшное. Ошибки есть у всех, пусть не такие дикие. Много десятилетий в прекрасных переводах мы читали о «кролике по-валлийски», думая, что это блюдо из кролика, а не гренки с сыром. Недавно я перевела *crêpe suzzete* как «шелк», тогда как это «блинчик». Ничего хорошего здесь нет, проверять надо все, но нужен в этих случаях не переписчик, а обычный редактор.

Страшное начинается (да и кончается) в ткани текста, в его синтаксисе. Желая сделать текст живым, современным и т. п., уснащают его «крутыми» словами, и отсутствие слуха мгновенно мстит, поскольку даже в этом стиль не выдержан. Больше всего украшений – из лексикона контркультуры (который, как сказала

бы Тэффи, уже «прошлогодний стиль нуво»), но есть и феня в прямом смысле слова, и говорок 50-х–60-х с отсылками к «Двенадцати стульям», и что угодно. А фраза висит, она несоразмерно длинна, в ней есть пассивы, цепочки родительных падежей, глаголы-связки, все признаки канцелярита, и венец его – комки отглагольных имен. Сюда уже никакой сленг ни живости, ни блеска привнести не может.

Перевод – профессия, которой долго и тяжко учатся, прочищая слух, ставя голос или, если хотите, разрабатывая руку. Переводчика можно сравнить не только с певцом или пианистом, но и с актером или с очень кропотливым реставратором. Ни у одного из этих людей при любом даровании искусство без ремесла не устоит.

Диапазон этого ремесла располагался между очень вольным пересказом и подстрочником (как труд Кирилла и Мефодия), авторство же особой значимости не имело. Когда-то люди помнили, что выпячивать себя неловко, стыдновато. Если кто-то и хотел, чтобы все его заметили, приходилось это скрывать или прикрывать. Даже пересказ часто не подписывали. Сейчас таких желаний не скрывают. Но, с другой стороны, и перевод уже той роли не играет (каждый может писать и читать что угодно), а заметных людей стало столько, что они как бы и незаметны.

Существует и более чистое побуждение – заработать на детей и зверей. Однако и это невозможно. Переводчики (как поэты в современных западных странах) должны иметь еще и другую профессию; я вот – переписчик для иностранных издательств. Могут спросить: значит, оттуда такие переводчики не уйдут? Да, наверное, но там часто и фамилий наших не пишут, а в русских издательствах скоро останутся только те, кто жить не может, если какой-то писатель не зазвучит по-русски. Но тут и темп работы иной, и вообще все. Издательства наши платят все меньше и все реже, становясь чем-то вроде хорошо оснащенного и безопасного самиздата.

«Малый остаток», то есть переводчики ради перевода, сохраняется, особенно здесь. Мы еще не отвыкли от своей особой роли – вроде миссионеров. Когда и кто отвыкнет, не знаю, но пока этого нет.

Часто говорят, что на Западе вообще нет таких миссионеров, и снова ошибаются. Один из них – Дороти Сэйерс, последние 13 лет своей жизни (с 1944-го по 1957-й) переводившая Данте, чтобы англичане прочитали «Божественную комедию» не только со всей ее мудростью, но и со всей смиренностью, со всем юмором. Глубоко почитая Дороти Сэйерс, закончу свою заметку ее словами о ремесле: *«Вспомним, что средневековая гильдия подчеркивала не*

только долг хозяина по отношению к работнику, но и долг работника по отношению к работе».

Королевский злодей [2]

Недавно я написала, что перевод умирает, но вскоре одумалась. Скорее он сохраняется на крохотном островке, а может ли и должен ли распространиться, не знает никто. Сейчас вокруг него резво бурлит море плохого, непрофессионального, массового перевода.

Наверное, вы помните присказку: «На скрипке играешь?» – «Не знаю, не пробовал». Конечно, подобие не полное; человек, никогда не переводивший, может перевести блестяще – но только в том случае, если он хорошо пишет на своем языке. Правило это действует в одну сторону. Люди, неплохо пишущие, иногда переводят ужасно, их держит буква оригинала. И другое: как любой мастер, ремесленник, на одном вдохновении переводчик не продержится.

Всякому ясно, что неуклюжая речь мучительна, она мешает и раздражает, даже если читающий не понял, в чем дело. Не стоит говорить и о том, что проповедь или что-то ей подобное такая речь гасит напрочь. А вот несомненно стоит – об особом сходстве переводческого ремесла с «духовным деланием».

Перевод труден, просто физически тяжек. Перевод требует редкой собранности и отрешенности, а за неокупленные взлеты жестко мстит. Перевод – борьба с энтропией, круг по лицу бездны. Перевод предельно смиренен; если мы сами не распыхтимся, он не превозносится и не ищет своего. Наконец, перевод сочетает полное подчинение с полной, летящей свободой. Он – как хождение по канату, достаточно узкому пути.

Один литовский священник говорил, что Евангелие не принимают впрямую, потому что это «накладно». Накладно и всерьез переводить, то есть – начать, решиться, дальше, кроме трудов, будет несравненная радость. Как и с Евангелием, в крохотном подобии, люди честно не знают, что надо идти путем зерна. Что там, сел – и чеши! Получается текст, неприятный, как поддельная вера. Никакие сердца он жечь не может.

Свойства его назвать нетрудно. Если мы переводим с европейских языков, появятся скопления отглагольных имен, пассивы, связки, цепочки родительных падежей. Не будет воздуха русской фразы – личной формы глагола, но переводчик об этом не знает.

Узнать он может, этому учат. Проверив слух, читают лекции, которые мы в библейско-богословском институте называли апофатическими – *как не надо*. Это – предел, закон. Перевод живет благодатью – ритм, например, просто слышишь – но есть

сетка, ниже которой падать нельзя. Если привыкнуть к ней или хотя бы помнить о ней, статьи переводить можно.

Теперь – самое важное. Относить это надо *к себе.* Вот притча, рассказанная Промыслом. Один человек просто пылал, возмущаясь чужим переводом. Спорили, призывали к милости – ничего! Тут его собственный перевод попал к редактору, и тот с удивлением увидел слова «королевский злодей Лоурдес». Значило это вот что: перечисляя чудесные исцеления, автор вспомнил «королевскую болезнь», золотуху, которую лечили наложением рук, и Лурд («king's evil, Lourdes»). Презрев запятую и смысл, переводчик написал про злодея.

Нет, дело не в ошибке, они бывают у всех. Слова легко заменить, дыхание текста – в синтаксисе, а человек нелеп и слаб. Но помни хотя бы, что сам ни от чего не застрахован! Прежде, чем начнешь негодовать, оглянись на себя.

Только детские книги [3]

Недавно в одном журнале печатались интервью, и среди вопросов были и «лучший писатель», и «незаслуженно прославленный». Лучшими оказывались исключительно те, от которых становится хуже. Незаслуженно прославленными, чаще всего – те, кто писал в манере XIX века. Прочитав все это, я вспомнила две притчи, конечно – происшедшие на самом деле.

Студенткой я мгновенно заболевала от Мопассана, и один старый филолог объяснил это тем, что у него нет неба, мир как бы под тяжелой крышкой. Стоит ли говорить, что у Пушкина, Шекспира, Толстого гораздо больше ужасов, чем у него, – а крышки нет?

Лет на двадцать позже один человек сказал жене, что если бы ее няня училась в университете, их литературные вкусы были бы уж совсем одинаковыми. Действительно, няня, скажем, не читала «Романа о розе» или Данте, Чосера, Спенсера, но они бы ей понравились. Вероятно, она бы не прочитала, даже в переводе, Торнтона Уайлдера или Чарльза Уильямса, тем более – *Cocktail Party*. Но охотно бы послушала и очень радовалась бы, если бы ей их рассказали.

Только я все это подумала, одна моя родственница, прочитав те же интервью, спросила себя, меня и ангелов: «Неужели они никогда не читают, обняв любимую кошку?» Вообще, в детских позициях, скажем – за едой, можно ли читать тех, кого назвали? Я бы не стала.

Но не в том суть. Наши души оставляют желать лучшего. Писатели вроде Драйзера камнем тянут их вниз, писатели типа Борхеса – раскорячивают, перебалтывают, да просто получается заворот души. Каким же смелым надо быть, чтобы не только читать их, но еще ими зачитываться!

Конечно, люди моего поколения, да и помоложе немедленно припомнят жуткие разговоры фашистского и большевистского рода – «здоровая» литература или «нездоровая». Но фашизм (во всех его видах, от франкизма до чисто бесовского нацизма) и большевизм, особенно переродившийся, имперский – антихристово добро в чистом виде. Как-то оно с христианским добром соотносится. Да нет, не «как-то»: к вполне резонным мыслям о здоровье души оно прибавляет вмешательство, жестокость, беспощадность – а тогда *ничто* не устоит, все станет беспримесным злом.

Ничего нельзя запрещать, но можно свидетельствовать, беря всю тяжесть на себя. Скажу еще, что здесь есть и Харибда –

суррогаты «детских книг», но признаки у нее те же, что у Сциллы, обычные признаки зла – жестокость и фальшь.

Книги, которым радовалась бы няня, нельзя навязывать. Мало людей, которые хотят именно этого; если же они попадутся другим, те мгновенно уподобят Харибде что угодно (не это ли произошло с Льюисом?).

Но проповедовать – можно, взывать – можно, кто-то да услышит, и ему будет лучше.

Хорошо, услышит – и кого же он будет читать? Может ли взрослый человек радоваться Дороти Сэйерс, Честертону или даже Элиоту, когда тот проговорится, и окажется не грозно-высоколобым, а Бог знает каким? Остановлю себя, чтобы не угодить в порочный круг: пока «взрослый» – не может, именно эти книги могли бы его пробить, но… и так далее. Тайны обращения мы толком не знаем. У Льюиса – мегафон боли, у Честертона – мегафон радости, но Бог так деликатен, что мегафоном вряд ли пользуется. Отойдем от этой тайны, вернемся к книгам.

Та самая няня, о которой шла речь, делила людей на «тихих» и «важных»[4]. Честертон и Дороти Сэйерс несомненно оказались бы тихими, хотя ели, выпивали, толстели, очень много смеялись, а Дороти даже трогательно хулиганила. Что ж, мы, как льюисовский паломник, вернулись к тому, что могли бы просто увидеть в Евангелии, там такое деление – по всей книге. Мракобесам это и положено: у нормальных людей – Борхес и Кортасар, а у нас – для слабоумных. Но нет! Возникли невероятно мучительные гибриды. Слава Богу, умные *high-brow*, скептичные, невредные – их не пишут и не любят. Но сейчас очень много церковного народу, который служит этому господину с большим усердием. Уж лучше любили бы стихи Соловьева (не прозу, а стихи, все-таки, мягко выражаясь – слабые). Да нет, что я! Ударятся как следует в духовность, все примут, и эти стихи, и диких гибридов.

А вообще-то, слава Богу, что Честертон или Дороти Сэйерс не могут пойти в стебель! Так гнали и пророков, так гнали пророков, так смеются над детьми.

Глава II
Честертон и другие

Неизвестный Честертон [5]

Англичане и американцы уже около десяти лет издают собрание сочинений Честертона. Вообще это у них не принято, такие многотомники дорого обходятся и плохо раскупаются. Мало того, когда издание начиналось, Честертон то ли терял, то ли давно потерял популярность. Перепечатывались его детективные рассказы, главным образом, про отца Брауна, и «Человек, который был Четвергом», все – маленькими книжками в мягких обложках. Однако несколько человек решились на совершенно дикое предприятие, даже не зная заранее, сколько у них выйдет томов. Это и сейчас не совсем ясно, а вот интерес к Честертону за прошедшие годы вырос.

Честертон говорил чистую правду – он действительно относился всерьез не к себе, а только к тому, во что верил. С редким для писателя смирением, – не в сусальном, а в истинном значении этого слова, – он не заводил архивов и не трясся над рукописями. Однако в Божий замысел, видимо, такие потери не входили – мать, жена и секретарша с детства до самой смерти подбирали выброшенные им бумажки и альбомы. Кто-то из них сложил в сундук множество книжечек, исписанных вкривь и вкось и копившихся с конца 80-х годов XIX века до 1936 года, и прикрыл докторскими мантиями, которые Честертон вместе со степенью получал *honoris causa* в нескольких университетах. Жена ненадолго пережила его, а секретарша, Дороти Коллинс, которую бездетные Честертоны считали приемной дочерью, так и осталась в их доме неподалеку от Лондона на 53 года. То ли она забыла про эти книжки, то ли не сумела их разобрать, но ученые добрались до них еще через несколько лет, когда архив претерпел ряд приключений и оказался в Оксфорде.

Теперь вокруг него сложился институт, умещающийся в одной комнате, плюс комнаты и столы всех тех, кто занимается Честертоном. Англо-американское собрание складывается из того, что печаталось (тоже немало), того, что содержится в бумагах и книжечках, и, наконец, того, что ученым удается разыскать в старых журналах. Так набралось больше пяти тысяч эссе. Открыты неизвестные стихи (их выпустил и прокомментировал пылко преданный Честертону Эйдан Мэкки, которому уже лет восемьдесят). Толстый том неизвестных рассказов и сказок (800 страниц) собрал и издал американец Денис Конлон.

Законченного там мало – шесть сказок, девять рассказов и несколько крохотных притч, которые, собственно говоря, вполне

известны, но могли не восприниматься как рассказы, потому что напечатаны в сборнике эссе «Потрясающие пустяки» (1909). Некоторые из них ходили у нее в Самиздате, а позже были напечатаны: «Любитель Диккенса», «Лавка призраков», «Современный Скрудж» и «Как я нашел сверхчеловека» (остается два, всего их шесть). Скажем сразу, что эти рассказики и много другое уже переведено, частично напечатано в журналах и готовится к изданию в трех издательствах.

Сказки – разные, лучше всего – «Вечерняя звезда», написанная в шестнадцать лет, и «Разноцветные страны» (1912), напечатанные много позже. Там в очень большой мере проявилась его мистика цвета; «Страны» даже показывают нам место, откуда Бог берет свои краски. Может ли ребенок так зачерстветь, чтобы спокойно это вынести?

Законченных рассказов тоже немного для такой толстой книги; большей частью это – детективы, два – об отце Брауне. Они далеко не лучшие, а на втором («Маска Мидаса»), написанном в год смерти, была пометка Дороти Коллинс «Не печатать». Но, как обычно у Честертона, некоторая бессвязность или прямые несообразности искупаются двумя-тремя мудрыми и неожиданными фразами кроткого священника. В других детективах таких фраз меньше – кроме «Дымного сада» (1919), который можно прочитать в журнале «Истина и Жизнь» (2000, № 9). В нем поражает странность, густота атмосферы, очень уместная в рассказе о наркоманах, и несколько не только мудрых, но и – даже для Честертона – исключительно милостивых фраз.

Выделяются из рассказов два – ненапечатанный раньше «Обращение анархиста» (1919) и затерявшийся в американском альманахе «Конец премудрости» (1930), помещенный теперь в предыдущем номере «Страниц». Это не детективы, а если назвать их притчами, придется искать другое определение для «Скруджа» и ему подобных. Во всяком случае, оба они на Честертона не совсем похожи. Оба скорее печальные, очень уж горько смотрит он на мир, конечно – не на созданный Богом мир красок, зверей, растений, а на человеческий «базар суеты». Действие и происходит в соответствующих местах – в снобском клубе, на деловой конференции. Правда, в «Конце премудрости», который и длиннее, и вообще гораздо лучше, есть место, достойное «Четверга» или «Перелетного кабака» и очень похожее на начало «Живчеловека», – сцена, где героиня вешает белье. Тут же, кстати, можно еще раз убедиться в том, что Честертон очень похож на мудреца из дзенской притчи, который так хорошо знает лошадей, что называет белого коня черной кобылой. Трудно себе представить, чтобы девушка, читающая Клоделя, у которой

родные – высоколобые адепты эзотерических религий или хотя бы богемно-светские существа, сама сушила белье. Может быть, ему смутно мерещилось что-то вроде «Золушки», а может – просто нужно было описать яркие, пляшущие на ветру платья и блузы; и, честное слово, если специально не напомнить, нам тоже будет не до того. Честертон знал про слепые пятна восприятия (см. хотя бы «Невидимку» или «Преступление Гэхегена»), но мог о них не вспомнить, механически ими воспользоваться.

Оба рассказа потребовали объяснительных статеек – не потому, что реалии устарели, а потому, что многое в них слишком актуально. Молодой английский богослов Джон Сауард, выпустивший в 1999 г. замечательную книгу «Путь агнца», где, среди прочего, много сказано о Честертоне, заметил, что Честертон с ходом лет становится моложе. И впрямь, уже казалось лет десять назад, что мы – внутри его романа, а сейчас кажется, что эти два рассказа написаны именно теперь. Честертон, который умел удержаться «на осторожном царском пути», здесь почти пристрастен. И снобы в «Анархисте», и дельцы в «Премудрости» – почти нелюди. Вспомним, как сумел он пожалеть Грегори в «Четверге» или Айвивуда в «Кабаке»; а напыщенных дураков он всегда жалеет. Такой скорбной ненависти молодой Честертон не знал. Самые страшные персонажи из ранних рассказов – скажем, Калон из «Ока Аполлона» – хотя бы одиночки, а тут страшна среда, людей он в ней почти не различает. Может быть, потому он и не включил этих рассказов в сборники? Собственно, печатая неизданное, мы даже не знаем, сколько раз идем наперекор его духовному чутью.

Рассказы «старого Честертона» (хотя в 1919 году ему было сорок пять (!) лет, для него уже началась старость, со смерти брата); так вот, эти рассказы промыслительно уравновешиваются неоконченными повестями Честертона молодого. Известно, что все 90-е годы он много писал, и большая часть сохранилась. Чего там только нет! Первые главы исторических повестей, наброски фантасмагорий, первые подступы к «Клубу удивительных промыслов», «Живчеловеку» и «Четвергу». Одно – хуже, другое – лучше, а совершенно прелестны (на мой взгляд) неоконченные повести «Человеческий клуб» и «Вино Каны Галилейской». Это (особенно «Кана») – какие-то зачарованные сады, где бродят и рассуждают смешные, умные юноши, романтически поклоняющиеся смешным и прекрасным девушкам. Собственно, так оно и было – друзья по школе св. Павла, легендарный Бедфорд-парк, молодой Йейтс, его сестры Лили и Лолли, другие барышни, сочетавшие викторианскую тонкость с какими-то детскими попытками эмансипации, а главное – *она,* Франсис,

которую он полюбил мгновенно и на всю жизнь. Казалось бы, неоконченное переводить странно, но здесь ничего сделать не могу – перевела и печатаю.

Легко сказать, печатаю – но не я же сама! Честертона все время просят. Смотрите, только за два года выпущены пятитомник и несколько книжечек, вот-вот выходит толстый трехтомник, опять несколько сборников и два «Неизвестных Честертона», не совпадающих по составу.

Почему он понадобился больше, чем у себя, в Англии, хотя и там (и в Америке) интерес к нему явно возрос? Заметим, что, начиная с 1985 года, у нас был сборник эссе, трехтомник, пятитомник и книжечки; и ничего – снова просят. Никакого давления сверху теперь нет, да и только в честертоновской фантасмагории могли бы «внедрять» такого писателя. Сама я, Бог свидетель, никак не протаскиваю его. Издательства чутки, рынок – не сентиментален. Остается предположить, что, с одной стороны, это – промыслительно, а с другой (такая синергия) – у нас тоже есть нюх, мы ищем целебную травку.

Назидательное всезнание свое отслужило, это ясно. Предполагается, что противовес ему, вызов важности и глупости – непристойность и жестокость, от кича до самой высоколобой литературы. У всезнания был мнимый золотой запас – как же, иначе будет зло! У этих тоже он есть – как же, иначе будет неправда и несвобода! Свобода – ценность великая, и тут предоставим все Промыслу, а насчет правды – дело проще: это – не правда, а очередной миф, «игра на понижение». Жизнь не состоит из похабства и садизма, а если у кого состоит, лучше бы ему пробкой выскочить вверх из такого слоя.

Оговорив, что «Ада» и «Улисс», которых сама я читать не могу – несомненная классика, приведу снова (кажется, в третий раз) такие стихи Кибирова:

Только детские книжки читать!
Нет, буквально – не «Аду» с «Улиссом»,
А, к примеру, «Волшебную зиму в Муми-доле»…
А если б еще и писать!

Вон как кинулись люди к «Гарри Поттеру». А Честертон, даже поздний, печальный, писал именно «Зиму в Муми-доле». Наверное, мы стосковались по таким книгам.

О Малькольме Маггридже (1903–1990) [6]

Совсем недавно, слава богу, кончился XX век. Мы хорошо знаем, что с течением лет добро и зло сгущаются, но не только аберрация близости подсказывает нам, что зло как-то уж слишком сгустилось. Все-таки, в этот век уложились бесовские режимы в трех больших странах (третья – Китай), не говоря уж о странах небольших и о режимах крайне сомнительных. Что до естественных плодов свободы, уже на уровне отдельных людей, этому нет конца; и многим кажется, что утопия порядка все– таки получше – не краткостью своей (как видим, они разрушались сравнительно быстро), а по самой сути. Такая ностальгия, мягко говоря, огорчает, особенно тех, кто успел в этих утопиях пожить.

Поэтому нужно вспомнить людей, которые *действительно* уберегли и от Сциллы, многорукого чудища, пожиравшего людей, и от Харибды, водоворота, людей затягивающего. Их, как и следовало ожидать, очень мало. Ведь самое простое – лечить одним злом другое, а не сочетать виды добра, которые кажутся несочетаемыми.

Таким был Честертон. Если его причислят к лику блаженных, о чем давно идет речь, то ему подходит роль покровителя этих людей. Казалось бы, он рожден быть патроном журналистов – но первое важнее. А кроме того, патроном журналистом может быть и Малькольм Маггридж. Он тоже встал против обеих утопий, но, в отличие от Честертона, довольно поздно, после долгих и разных заблуждений.

Кроме того, Маггридж – истинный человек минувшего столетия. Его можно сравнить с Мертоном, оба – блудные сыновья в чистейшем виде. Конечно, плох тот христианин, который не похож на этого героя едва ли не самой поразительной из евангельских притч. Но у Мертона и Маггриджа очень уж это явно, они – обычные мирские гуляки, почти хулиганы, даже мрачные. Правда, здесь Мертон – впереди, он был до обращения просто образцом распущенного бездельника. Маггриджу всегда мешал дойти до этого унаследованный или усвоенный в детстве идеализм.

Семья у него была, как сказали бы англичане, «из низшего среднего класса», мать – почти неграмотная, родители ее – из северных индустриальных мест; но Генри Томас Маггридж, отец, выбился в интеллигенты. Когда читаешь о нем, поневоле переносишься в Россию; все-таки в Англии мещанские мальчики

(«разночинцы») реже становились образованными народолюбцами. Малькольм и его братья очень любили отца; видимо, многие его любили, он был Дон Кихотом социализма. Весьма высоколобые фабианцы, снизошедшие разве что до Уэллса, который все-таки был знаменитым писателем, считали Генри Маггриджа своим и дружили с ним. Позже, в 20-х, Малькольм женился на племяннице «самой» Беатрис Уэбб. В иерархической Англии его без труда впустили в достаточно высокий класс. Правда, отец к тому времени побывал членом парламента от лейбористов, но жил все в том же тихом пригороде и выглядел более чем скромно.

Малькольм учился в Кембридже тогда же, когда Набоков (чуть моложе), но тут уж о равенстве не может быть и речи. Все-таки русский *high-brow* переплюнет всех английских. Скорее всего, они знакомы не были. В любом случае, Малькольм плохо одевался; а в главных университетах, по свидетельству Льюиса, тоже почти ровесника, студенты четко делились на задрыг и франтов, взаимно презиравших друг друга. Может быть, Малькольм никого и не презирал, он был скромным и добрым.

Преданность социализму под вопрос не ставилась, он точно знал, где истина; но она не мешала приступам религиозных поисков, даже скорее помогала. Одно время он стал чем-то вроде пламенного неофита, но остыл. Кончив университет, он должен был работать (в Англии это далеко не всегда так, особенно – тогда), и довольно долго метался между преподаванием английской словесности в колониальных университетах и журналистикой, которая победила, но далеко не сразу. В 1927 году он довольно неожиданно женился, и тут ему очень повезло. Китти, которой он полжизни непрерывно изменял, оказалась прекрасным человеком. У них, как у старших Маггриджей, было четверо детей; и у тех, и у других один умер.

Преподавание, среди прочего, занесло Малькольма в Индию (1934-35), где он совсем уж собрался бросить жену ради невероятно красивой художницы, у которой отец был индийцем высшей касты, мать-венгеркой. Там же, верный своим религиозным метаниям, он увлекся индуизмом, но до модного самодельного оккультизма все-таки не дошел. (Скажем, что прекрасная Амрита умерла через шесть лет, не дожив до тридцати).

Журналистика, немного раньше, занесла его в более опасное место – сюда, в Москву (1932). Приехал он вместе с Китти и через несколько лет описал их здешнюю жизнь в довольно слабом романе. Но как все узнаваемо! Хмурые лица, грязь в гостинице («Астория» на Тверской, где селили не очень важных

иностранцев), анекдоты, питье – он пил и так, но с озверевшими коллегами стал пить гораздо больше. Вскоре их с Китти переселили на какую-то дачу на Клязьме, и там он испытал знакомые нам муки – Китти тяжело заболела (видимо, воспалением легких, причем антибиотиков тогда не было), а вызвать врача они не могли – то ли не там «прикреплены», то ли еще что-нибудь, в общем – весь советский букет. Добыли как-то сестру с банками, поудивлялись этому средству – оказывается, в Англии его не знают, но все-таки Китти стало лучше, и Малькольм убедил ее уехать. Так, в знаменательном возрасте обращений, он начисто утратил веру в социализм и вообще в какие бы то ни было утопии. С той поры он делил режимы на выносимые и невыносимые.

Вернувшись, он писал, для газет – успешно, как романист – не очень, много пил, любил семью, но крутил романы. Таким хемингуэевским персонажем был он и на войне, где дослужился до майора. Конец войны ознаменовала очень промыслительная встреча.

Его приставили к опозоренному Вудхаузу. Этот идиллический юморист жил в 1940 г. на французском курорте, у самого пролива, когда туда неожиданно нагрянули немцы. Они с женой, как и почти все, не верили, что это случится, а кроме того он вообще был исключительно отрешенным, по-детски далеким от мирских дел. Словом, его забрали в лагерь для подданных враждебных государств, а Этель, жена, пристроилась под Лиллем у знакомых. В 1941 г., когда ему исполнялось 60 лет, его по женевской конвенции выпустили и тут же предложили выступить в Берлине по радио для еще нейтральной Америки. Он выступил, беззлобно смеясь над собой, над теплушкой и лагерем, и думая при этом, что подбодряет читателей, чьи письма добрались даже до Германии. В Англии поднялся страшный крик. Большинство обличало его, не зная ни обстоятельств, ни абсолютно невинных текстов, несколько человек – призывало к милости (Ивлин Во, Дороти Сэйерс, Оруэлл), стараясь напомнить, какой он бесхитростный и далекий от политики человек. Вспоминали и о том, что именно он создал однозначную карикатуру на сэра Освальда Мосли, главу английских фашистов (лорд Сидкап в романах про Дживса и Вустера), но ничего не помогало. С осени 1943 Вудхаузы жили в Париже, о травле уже знали, жена – сердилась, он – очень страдал и ругал себя за глупость. Сразу после освобождения Франции, то есть ровно через год, к ним явился майор Маггридж, которому было поручено сторожить их, пока в Англии разберутся. Он сообщил, что только что умерла любимая падчерица Вудхауза, оставив двух детей.

Намного позже, уже пройдя возвращение блудного сына, Маггридж написал статью «Вудхауз в беде», с удивлением, даже благоговением рассказывая о поразившей его кротости старого писателя. Дружили они до смерти П. Г. В. (1975), но почти не виделись – формально оправданный, Вудхауз не смог вернуться в Англию, слишком это было тяжело, и долгий остаток жизни прожил в Америке, на Лонг-Айленде.

Маггридж послевоенных лет был уже очень известным журналистом. Ему доверили прославленный «Панч», и он оживил этот лучший из юмористических журналов, просуществовавший к тому времени немногим больше ста лет. В 50-х годах он опять побывал в России и на Украине с премьер-министром Макмилланом. На приеме он поговорил с Хрущевым, который сообщил ему через переводчика, что жизнь хороша. Мнение Маггриджа о жизни и о нашей несчастной стране не изменилось.

Журналистом он был бурным, вечно попадал в скандалы, даже сумел поссориться с очень старым Черчиллем и очень молодой королевой. В последнем случае чуть не дошло до травли, но как-то пронесло. Известность его росла, и естественно, что его одним из первых пригласили на телевидение.

Шли шестидесятые годы. Утопия свободы набирала силу уже в другом, более прямом виде вседозволенности. Маггридж писал-писал, смотрел-смотрел и вдруг «возмутился сердцем», как когда-то в Москве.

Однако теперь он усомнился не в одной из утопий, а вообще в «мудрости века сего», какой бы вид она ни принимала, ближе к Сцилле или к Харибде. Последние три удара нанесли съемки в шотландском монастыре (осень 1967), поездка в Святую Землю и встреча с матерью Терезой. Как бывает всегда, события эти полны простых, бытовых чудес. Расскажем об одном: когда стали снимать для телевидения его беседу с матерью Терезой, оказалось, что в калькуттском обиталище сестер темно, а приличный свет установить негде. Оператор ни на что не надеялся; но на телеэкране все видно и все сияет каким-то особым, неярким светом. Маггридж прямо назвал это чудом, а его неверующий продюсер говорил, что работа с ним вообще полна «немыслимых явлений».

После этого, почти сразу, вышла его книга «Иисус, открытый заново» (*Jesus Rediscovered*, 1969). Это – заметки о Святой Земле, очерки о Паскале, Симоне Вайль, Толстом и длинное интервью, где Малькольм Маггридж называет себя «Честертоном для бедных». Конечно, речь идет не о неимущих, а о духовно обедненных, «людях массы», которых было все-таки меньше в честертоновские времена. Рывок 60-х, такой понятный после

жесточайших утопий порядка, принес много нового зла. Можно сказать, что именно Маггридж стал его первым обличителем. Напомним снова: в 70-е годы и позже, сейчас, *это* зло очень легко обличают апологеты «крепкой руки». Ценность и редкость свидетельства, о котором мы пишем, – в том, что у Маггриджа была прививка против такой опасности.

С той поры и до смерти (к счастью, он застал начало краха советской системы и очень радовался) Маггридж жил по евангельским словам о рабе и господине. Как всякого человека, проповедующего христианство всерьез, его и принимали, и гнали. Первый скандал разразился сразу, когда еще не вышел *Jesus*. Английских писателей и общественных деятелей часто выбирают ректорами Эдинбургского университета (в таких выборах участвовал и Честертон). В 1966 г., вступив в эту должность, Маггридж был поражен тем, что творится у студентов. Они не только «применяли на практике» наркотики и сексуальную революцию, но защищали их в теории, отстаивали свои права. Новый ректор резко выступил против этого, они рассердились, он сказал, что иначе уйдет – и ушел.

Так и жил он двадцать с лишним лет. Ему постоянно напоминали, какой он был сам до обращения, подозревали в лицемерии, приписывали синдром «лисицы и винограда». Его это очень мало трогало. Жили они с Китти на самом юге Англии, в Сассексе, и много гуляли в лесу со старым другом, священником Алеком Видлером. Маггридж писал и почти до конца делал телепередачи – например, с владыкой Антонием Блюмом. Среди прочего, он издал замечательную книгу об обманах и опасностях телевидения. При всех насмешках и подозрениях, он помнил о рабе и господине; и сказал, что если бы у Христа была судьба Билли Грэма, никто бы о Нем не помнил.

Пересказывать беседы и статьи Маггриджа – проповедника – просто глупо; все равно у него лучше. Можно и нужно издать его, тем более, что, в его манере, произошло еще одно необычное или хотя бы маловероятное явление – его архив стали собирать в том самом американском центре, который хранит материалы о Честертоне, Толкине, Уильямсе, Льюисе, Дороти Сэйерс, и издает соответствующий ежегодник. Одна женщина, связанная с этим колледжем и живущая там, оказалась его пламенной поклонницей и подарила мне две книжки (одна из которых, конечно, бесследно исчезла). Словом, помощь будет, надо бы начать.

А предварительный рассказ о современном и таком понятном нам проповеднике уместно закончить стихами Дороти Сэйерс, которую он очень высоко ставил, тем более, что речь в них идет о

том, что он нашел и полюбил – о покое, смирении и Святой Земле.

О, как славен покой субботний,
Отдых усталым, награда стойким,
Тихая радость Иерусалима,
Где мы хотим не больше, чем можем,
И получаем больше, чем просим!
О, великий город покоя,
Царство смиренного совершенства.

О книге «Экуменический джихад»[7]

Питер Крифт – католический мыслитель, преподающий философию в Бостоне, написал много; особенно известны книга о страдании, еще одна книга о рае, продолжение первой, и сравнительно короткая апология христианства, лучше которой не было, наверное, со времени Ньюмена («Основания веры», 1988). Только что я слышала от одного американца, что Питер Крифт – *Lewislike figure*. Так это или не так, но сам он открыто продолжает то, что делал Льюис, и даже сочинил что-то вроде пьесы для чтения, где умершие в одни день Льюис, Хаксли и Кеннеди спорят перед вратами рая.

Сейчас вышла книга, название которой в переводе звучит гораздо хуже, нет соответствующих русских слов. По-английски как-то все переплавлено; читаешь *Ecumenical Jihad* – и ничего. А «Экуменический джихад» – плохо, колченого. Посмотрим, что тут можно сделать; самиздата все-таки уже нет, издательства вряд ли захотят ее печатать, а если захотят, возникнет какой-нибудь лучший вариант.

Посмотрев на обложку, я немного испугалась. Св. Георгий убивает дракона – да, хорошо, но слишком их много в Москве. Я не герб имею в виду, а всякие журналы, плакаты. Неужели и Крифт начнет кричать, доказывая вред экуменизма?

Прежде, чем открыть книгу, я снова, наверное – в сотый раз, подумала о том, что ученообразные слова плохи для веры, холодны, пустоваты, даже если не ассоциировать их с кошмарными мероприятиями советских времен. Помню, в прошлом году один православный священник и один католический сказали почти в унисон, что лучше говорить не об экуменизме, а о христианстве, как тот же Льюис. Православный, собственно, усомнился и в этом слове, предложил просто Христа, но тогда, по меньшей мере, придется иначе строить фразы. А вообще, можно попробовать, живее уж точно будет.

Я думала об этом, но зря. Можно было догадаться заранее, что Крифт говорит не о священной войне конфессий друг с другом. Мысль его другая, и она немыслимо важна для него, так важна, что книга как бы взрывается изнутри, превращаясь из трактата в проповедь, то есть – в вызов миру.

Питер Крифт считает, что мир без веры уже предельно ужасен. Он (мир, не Крифт) лишился последних следов добра и смысла, граница ясна, противостояние – четко. Любая религия, кроме сатанизма, ненавистна ему. Правда, позже оказывается, что размытый индуизм он выдержать может, но только размытый, да

еще смешанный с очень опасной магией. Эту смесь Крифт противопоставляет всем другим верам, полностью относя ее к мирскому граду, если не хуже.

Дальше все понятно. Льюис писал в «Размышлениях о псалмах» («Мир Библии» № 2,1994), что остров христианства очерчивается все четче. Крифт прибавляет: вообще остров веры. Можно ли грызться друг с другом, когда его вот-вот затопит? Конечно, нельзя.

Дальше, с ясностью томиста, он говорит о том, что хранит и знает каждая вера. Вот – самая близкая, иудаизм, чтущая Бога, но не во Христе. Вот ислам, чтущий Того же Бога – Крифт напоминает об этом, а то не все знают. Вот сокровища индуизма, буддизма, конфуцианства. Мы читаем беседы с Моисеем, Магометом, Конфуцием и Буддой, а потом возвращаемся к себе, почти забыв о своих разделениях. Возникает «мы, христиане» – и тут же Льюису, в видении, являются Лютер с Аквинатом. Сперва оба говорят примерно так: «Какое еще «просто христианство»?! Зачем же мы спорим век за веком?» Однако Льюис испытание выдерживает, догадавшись, что у них одна вера, но разные богословия. Крифт разбирает слово «вера», и выводит, что они употребляли его в разном объеме.

Большая радость все это читать. Действительно, сколько можно? Но сперва, перенимая его манеру (цифры, буквы, пункты), задам четыре полувопроса.

1. Был ли мир другим, получше? Не иллюзия ли это, вроде тех, которые возникали тысячу лет назад или пятьсот, или тысячу пятьсот? Всякий раз мир – хуже некуда. В V веке рушился Рим. В X он настолько растлился, что над какой-то чехардой жутких женщин и странных пап возникла легенда о папессе. Это ведь еще страшнее, чем просто «мир сей» – твердыня христианства гнила на глазах. Вы скажете, что твердыней был Константинополь, но почитайте о том же веке в Византии. Возьмем XV-ый, Бог знает что. Словом, каждый раз, и в промежутках тоже казалось, что дальше некуда.

Я не спорю с Крифтом, а просто думаю. Да, конечно, тогда грех платил дань лицемерием – но лучше это или хуже? Подробнее – под № 3 (совсем как у Крифта.)

2. Именно те свойства «мира», которые так видны теперь, Крифт связывает с нынешним десяти – ну, двадцатилетием. Наверное, мне очень повезло, но я их видела и в 50-х, которые он считает идиллическими, и в 30-х, и видела бы раньше, если бы жила тогда на свете. Сейчас речь идет не о советских ужасах, больше похожих на какой-то пласт Средневековья, а об ужасах вседозволенности. Но они же были! Меньше, больше, не в том

суть. Целые разряды людей – скажем, наша богема – совершенно ничем не отличались от нынешних (да и тогдашних) американцев этого рода. Все позволено, все смешно, все относительно; главное – чтобы мне было удобно, а если я хочу удобств еще для кого-то, я просто прекрасный, добрейший человек! Помешательство на, скажем так, любви, полная безответственность, полное довольство собой (поверху, конечно; внизу комплекс на комплексе) – все было, сколько я себя помню. Было и другое, но оно есть и сейчас.

3. Недавно кто-то сказал о Богородичной иконе в Чикаго: «Она плачет о Церкви», – не предположительно, а утвердительно, как всем известный факт. Я не знаю, откуда это известно, но на правду похоже. Вспомним Федотова, «Об антихристовом добре». Суд не только начнется с дома Божия, он все время над ним и совершается. Льюис писал: «Самый плохой человек на свете – плохой религиозный человек». Если бы не фарисеи, равнодушный чиновник и грубые, темные солдаты не распяли бы Бога. Конечно, Крифт пишет не о том и мимоходом упоминает о недостоинстве христиан, но мы должны всегда помнить, как позорим Церковь перед миром. Тем более здесь, сейчас, когда снова и снова тащим в храм не верблюда, а просто мастодонта амбиций, обид, всех болезней униженной души. Что мы покажем – наш эгоизм, наш практицизм, попытки возвысить себя? Подумаем об этом, а теперь пусть говорит сам Крифт. Описав бессмысленность и мерзостность мира, где все позволено и единственный критерий – «так мне приятней», Питер Крифт говорит: «Кончилось время религиозных войн, начинается время религиозной войны – войны против безверия».

Потом он напоминает, что от Пятидесятницы до 1054 года, тысячу лет, видимая Церковь была единой. Вторую тысячу она дробилась. Скоро начнется третья. «Быть может, по дивной интриге Промысла, оно станет временем единства (…) Нехристианский мир вызовет ответ, и мы вернемся к единой Церкви, чтобы ему противостоять».

Собственно говоря, продолжает он, с Божьей точки зрения, то есть – на самом деле, «Тело Христово и сейчас едино, ибо Оно едино в вечности (…) Христос не разделился, разделились только Его нешвенные одежды».

Умеющие видеть давно заметили неопровержимые знаки единства. Крифт говорит особо о двух людях – об Иоанне Павле II и о Клайве Стейплзе Льюисе.

Напомнив для верности, что воевать мы будем не с плотью и с кровью, не с людьми, а с особым духом, он переходит к сокровищам других вер.

«Высший авторитет нашей Церкви, – пишет он, – Второй Ватиканский Собор, учит нас, что мы должны вникать в мудрость других религий и учиться у нее» и напоминает, что Отцы Церкви учились у Платона, св. Фома Аквинат – у Аристотеля.

Это не так уж легко, ибо «религиозной истиной надо жить. Религию постигают не так, как ученый изучает животное, а так, как мы узнаем друга или семью. В отличие от науки, религия познается только изнутри (…) Это не значит, что вы не поймете индуизма, пока не станете индуистом; но это значит, что надо хотя бы представить себе, что было бы, если бы вы верили и чувствовали, как он».

Чтобы мы это представили, Крифт дает слово Конфуцию, Будде, Магомету и Моисею (именно индуиста у него нет). Конфуций рассказывает о мудрости скрупулезно упорядоченной жизни; Будда, не споря с ним, называет его мудрость «мудростью Марфы», прибавляя: «А я расскажу тебе о мудрости Марии». (По этим словам Крифт понял, что тот «прошел на небе курс Писания»). Дальше идет такая беседа:

– Мы должны творить дела Марфы, но в духе Марии.

– Что же это за дух? – спросил я.

– Молчание, – ответил он. – Внутреннее, да и внешнее. Ваша культура не слышит голоса Божия, ибо шум оглушает ее (…) Когда слова родятся из тишины, они обретают силу. Слова, родившиеся из слов – болтовня бюрократов и ученых, делающих доклады.

Потом Будда напоминает о том, «что все *ваши* святые называли *отрешенностью*. Без нее вы не освободитесь от вашего рабства времени, часам, делам, собственному Я». После прекрасных рассуждений о погруженности в молитву Будда исчезает. Появляется человек в тюрбане и так не нравится Крифту, что тот просит: «Господи, избавь меня от него!», но слышит: «Не буду».

– Почему? – спросил я.

– Потому что он даст тебе еще более важный урок, чем Конфуций или Будда.

– Какой же, Господи?

– Он назовет самую суть и душу истинной веры.

Крифт спрашивает, что же это, и уже не Господь, а Магомет отвечает: *«Ислам»*.

– Ислам, – сказал он. – Ислам, повиновение и тот покой, который оно рождает. Да, мир, которого мир дать не может, мы обретаем только тогда, когда сдадимся перед Богом, отдадим Ему всю нашу волю. Вот она, суть и душа истинной веры. Как же ты забыл? Почему иноверец должен тебе напомнить? Разве нет у

тебя пророков и святых? Крифт спрашивает:

– Кто ты теперь, христианин или мусульманин?

Он ответил как-то уклончиво:

– Почему ты сказал «или»? Разве можно быть христианином, не отдав свою волю Единому Богу?

Несколько растерянный, Крифт вынимает четки с распятием. Магомет падает на колени, а поднявшись» говорит так:

– Вы не побеждаете мира, вы не побеждаете в битве,? в священной войне, духовной брани. Ваш мир скользит к преисподней. Почему вы отдали целый век дьяволу? Ваши ученые умны, сокровищницы – полны, вас много, вам хватает и консерваторов, и либералов, но вы вечно толкуете о себе, о своих правах, свободах, самовыражениях, а не о том, как отречься от себя и покориться Богу (…)

Вы забыли простой урок своих святых, и стали сложными, смятенными, неверными, приверженными своей расколотой воле, своим похотениям, которые вы называете «нуждами». Потому вы и не видите истины, простой и яркой, как солнце пустыни. Вера, которой я учил мой народ – самая простая на свете. Есть время сложности, есть время простоты. Как по-твоему, какое время теперь? (…)

Культуре, которая говорит: «Не упрощайте!», когда матери убивают нерожденных младенцев, ислам, как и пророки, напомнит: «Так сказал Господь!»

Крифт спрашивает, не слишком ли воинственна мусульманская вера, и Магомет отвечает:

– Процентов пять всех мусульман верит, что джихад – обычная война, истребление неверных. Коран ясно говорит, что воевать прежде всего надо с собой, со своими грехами и своей неверностью.

– Но ваша история полна… (возражает Крифт, а Магомет парирует):

– Крестовых походов, пыток инквизиции, насильственных обращений, еврейских погромов?

Они толкуют о разуме и Аристотеле, о благоговейном почитании Девы Марии (по словам Магомета, он упоминает Ее в Коране тридцать четыре раза, называя «чистой и вознесенной (…) выше всех женщин» и, наконец, о том, что «войдя на небо, Магомет сразу поклонился Спасителю, ибо Его узнал».

– Надеюсь, – продолжает он, – что многие из моих благочестивых последователей сделают этот, последний шаг паломничества. Они не сделали его на земле, но могут сделать там, на небе, как я.

Завершается беседа такими словами пророка: «Когда видишь

в людях бесов, бесы могут принять это серьезней, чем люди».

Появляется Моисей. Он постоянно отвечает вопросом на вопрос, и вообще был бы похож на нью– йоркского еврея, если бы не величавость и скрижали. Крифт удивлен: Моисей вспоминает стишок Беллока, которого считают антисемитом, и хвалит его: «Он воспринимал нас всерьез!»

– Лучше дать нам пинка, чем погладить по головке – продолжает он. – Да, мы *другие.* Как же иначе? Сам Господь стал евреем! Не просто человеком, евреем. Трудно принять это, а?

Моисей негодует, что Новый Израиль не хочет быть другим, особым, святым в первом значении этого слова. Крифт опять теряется.

– Знаешь, я американец, а мы как-то больше любим равенство.

– Оно и видно! – взревел он. – Вот и катитесь в ад!

– Что?

– Ты слышал. Вы больше боитесь неравенства, чем ада, и потому вас учат, не вы учите. Когда Иисус говорил про соль, утратившую силу, кого Он имел в виду, как ты думаешь? Евреев первого века? Нет, вас, американских католиков двадцатого!

Крифт упирается.

– Ты хочешь сказать, что Церковь права, а все неправы? Что буддисты, мусульмане, конфуцианцы не спасутся?

– Глухой ты, что ли? Когда я это говорил?

– Значит, их веры тоже ведут к спасению?

– И этого я не сказал. Путь – один (…)

– Значит, спасает только христианство?

– Христос спасает, Путь, Истина и Жизнь.

– Значит, нехристиане ошибаются?

– Когда противоречат Церкви, конечно!

Беседа с пророком, с которым Сам Христос беседовал на Фаворе, длиннее и глубже первых трех, и кончается она согласием.

Книгу же завершает небольшое послесловие, сжатое повторение, которое мы приводить не будем. Надеюсь, читатель и сам сможет обобщить и разделить на «пункты» все, что тут сказано. Если же не сможет, то скорее всего из-за возмущения. И это побуждает подумать еще об одном.

Те, о ком сокрушался Крифт, больны равнодушием. Я упростила, конечно – все мы знаем, как нетерпимы люди контркультуры. В конце концов, принцип готтентота как был, так и остался главным мирским принципом, и прекрасно применяется к мысли (*моя* – свободна, твоя – нет). Однако, что ни говори, «у них» больше склонность к всеядности, «у нас» к

нетерпимости в самом злом, личном, грубом, совсем не рыцарском смысле. Нельзя семьдесят лет безнаказанно вдалбливать полное нежелание и неумение понять другого. Поэтому как-то страшно – только дай людям еще одну борьбу! На собраниях прорабатывать не станут (хотя кто их знает), зато в каждосекундном общении, определяющем связи с ближним, может начаться Бог знает что. Да оно и так есть, никуда не делось, но стоит ли подпитывать?

Все эти вопросы довольно глупы. Конечно, как всегда в христианстве, Крифт обращается к имеющим уши, не зная, сколько семян куда упадет, и все-таки рискуя.

Глава III
Мир под оливами

На вершине земли [8]

Писать о самом Иерусалиме почти невозможно. Слово здесь и беспомощно, и нецеломудренно. Конечно, не всякое слово, и Писание, и даже великие стихи эту высоту берут, но только они, что-то другое – вряд ли. Единственное, что вполне можно, но не совсем безопасно выразить – ясное, четкое ощущение: «он отторгает всякую неправду». Земная суета – пожалуйста, это есть, обычный западный город, вроде Лондона или, говорят, Парижа. Уютный центр того стиля, за который мы так ухватились сейчас, догадавшись, сколько в нем сообразности человеку. Мандельштам был бы просто в восторге, он по-детски эту роскошь любил. Конторы с вежливыми и прелестными барышнями, банки какие-то, медленные большие лифты. Для всего этого совсем не надо ездить в святые места, но это – есть, и ни в малейшей мере не шокирует. Скорее – наоборот. Плачешь и рыдаешь совсем в других местах и по другому поводу. Может быть, соберусь с духом и сумею (а кроме того, – посмею) написать об этом. Чтобы разогнаться, пишу сейчас о книгах, как обещала. Книги издаются и там, их много, три из них мне подарили авторы.

Сразу скажу: о самой филологической из них, посвященной Лермонтову, писать не буду, только порассуждаю о филологах того поколения, к которому принадлежит ее автор, Илья Захарович Серман. Здесь, по приезде, я купила книгу Якова Соломоновича Лурье. Немного моложе их и учился чуть позже Юрий Михайлович Лотман. Все это – люди замечательные, и не в том смысле, что они филологи самой высокой пробы, а в том, что они – очень хорошие. Все трое, и довольно много других, принадлежат к тем, кто был в Ленинградском университете конца 30–40-х годов (рухнуло это, помню, в 48–49-м). В предисловии к книге Якова Соломоновича говорится об историческом факультете, но это неважно, истфак и филфак еще ощущали себя чем-то единым. Так вот, после слов о том, что вернулись и преподавали И. Гревс, Е. Тарле и другие (Тарле был и при нас, ученики Гревса нас учили) сказано, что Яков Соломонович в книге об отце назвал такой истфак «Афины и апокалипсис». Вот уж верно! Надеюсь когда-нибудь написать об этом подробней, но сейчас важно одно: никто из этих молодых ученых в Бога не верил.

Выводы делать не хочется. Сказать, что нам стыдно? Это не совсем то. Стыдно, конечно, мы – хуже, но не в этом дело. Я знаю христиан, которые не хуже, а просто другие, настолько другие, что привычные слова «анонимные христиане» к тем, неверующим,

и не применишь. На их фоне и видишь, чем отличается христианин. Отличается он, собственно говоря, безумием. У этих поистине прекрасных людей есть благородство, милость, стойкость, скромность, в каком-то смысле – кротость и смирение; здесь – останавливаемся. Прибавлю только: думая о них или общаясь с ними, особенно ясно понимаешь, что христиане не какая-то *masa salvationis*, а именно дрожжи, соль, совершающие довольно грязную и странную работу. Что же до «таких людей», вернее назвать их праведными, живущими по правде. Может быть, у «нас» – перекос в сторону милости, у «них» – в сторону правды. Связано ли это с тем, что те, о ком я говорю – евреи? Я не знаю.

Что же до самой книги Ильи Захаровича, писать о ней не берусь, потому что я уже не филолог. Другие две книги будут чем-то вроде трамплина для чего-то вроде проповеди.

Книга Михаила Вайскопфа «Во весь логос», как вы догадываетесь, – о Маяковском. Она сама – пламенная, как проповедь, и очень интересная. Пафос ее сводится точно к тому, о чем писала тут в «Русской мысли» Ирина Муравьева. Помните? Бабушка и девочка не могут принять его беспощадности. Господи, как это точно! Совершенно то же самое было когда-то со мной. А тут автор книги, отнюдь не дрожащая леди Джейн, а блистательный и взрослый ученый лихо, просто наотмашь пишет о том же. Очень радуешься, когда он приведет жуткие стихи о мальчике Пете и прибавит, что «по заряду дегуманизации» они «сопоставимы разве что с нацистской пропагандой, которая предваряла поголовное уничтожение евреев». Есть и про «кровожадно-сентиментальный культ человека», и про то, что разговор с Лениным «смахивает на отчет беса перед Люцифером» (помните, «работа адовая»?). Пересказывать книгу не стоит, надеюсь – вы ее прочитаете, но вот о чем подумаем.

Мудрый, кроткий и осужденный когда-то на 25(!) лет Илья Серман ответил маленькой статьей на первую книгу в этом духе, книгу Карабчиевского. И он, и мы выносим за скобки огромный дар Маяковского, не в нем дело. Но если бы обобщить то, что говорит И. З., и то, что пытаюсь сказать сейчас я, придется вспомнить разницу между оценкой и судом.

Помню, как поразило меня в те, студенческие годы маленькое рассуждение, кажется, у Пешковского – одно дело сказать: «он украл», совсем другое – «он вор». Я-то в Бога верила и мгновенно, навсегда перенесла это из филологии в богословие. Потом встречала и в рассказах о пустынниках, и в рассуждениях Льюиса, это вообще – общее место, но не все его помнят. Может быть, никому, кроме христиан, и не положено помнить его во всей полноте.

Вспомнив, смотрю на Маяковского, и вижу несчастное поколение полухулиганов, угодивших в капкан советской власти. Что говорить, они туда охотно лезли, но я так много их видела, так много от них вынесла, что просто обязана разглядеть сквозь все самолюбивых, потерянных детей. Очень легко сказать, что и Гитлер – самолюбивый подросток. Да, может быть, всякая беспощадность коренится там, в досаде и недолюбленности, и ничего хорошего в этом нет, но кто-то же должен не оправдать, а пожалеть их! Наверное, только христианам положено различать оправдание и жалость; вот и попробуем.

Никакого спора с книгой про «логос» здесь нет; я оттолкнулась от нее и просто размышляю.

Напоследок – предположим, что у кого-то из людей, похожих на Маяковского, есть дети. Тогда и видно, как невозможны обе привычные позиции: «осуждаю и отрекаюсь!» и «как кто, а мой был порядочный». Нет, не был; а вот несчастным – был.

Теперь о том, что намного страшнее и больше связано с Иерусалимом (то есть – прямо связано; косвенно с ним связано все). Нет ли у нас той интонации, с которой Маяковский пишет про мальчика Петю? Кроткий Честертон, и тот пишет «Лепанто», восхищается мечом. У него это хотя бы символы «войны на небе», но Христос, кажется, не заповедовал нам осуществлять ее на земле, рубя в капусту всякие плевелы. Беллок восхищался мечом, да и костром уже не по-мальчишески, и я не удивилась, когда прочитала в дневниках Ивлина Во о том, как сразу после войны тот встретил его в гостях, старого и жалкого, вообще – такого, с которым никто не может побыть даже из вежливости. Заметьте, что «в жизни» обычно так и бывает. В одном романе Вудхауза служанка говорит о хозяине: «Он у нас титан». Такие титаны и становятся уж очень жалкими, они ведь не умели терпеть, а главное – щадить. Что делает Господь, разыгрывает с ними «золотое правило»? Не знаю. Далеко не всякий из них ахает – вот каково было тем, кого я не щадил! Но это – в пределах жизни; на переходе «туда», может, и ахают.

Произведен ли над Маяковским «суд без милости», мы не знаем. Я думаю, что нет. Даже нам, равнодушным и жестоким, лучше бы, заведя себе «сердце милующее», делать то, что делает такое сердце по слову Исаака Сириянина, а уж у Бога оно заведомо есть. Трудно себе представить «постхристианского» человека, который так и остался не блудным сыном, а титаном.

Если вам хочется сейчас сказать, что Маяковский самоубийца, и дело ясно – пожалуйста, прочитайте рассказ Лескова о Филарете Киевском, и самый конец «Сути дела», которую написал Грэм Грин, и книгу о святом Жане-Мари Вианнэ.

Другая книга – о Чехове, Елены Толстой. Когда ее берешь в руки, невольно вспоминаешь ту ненависть к Чехову, которая возникла в конце 60-х годов или немного раньше. Именно тогда сгустилась и оформилась особая неофитская злость. Несколько человек двигались примерно так: не могу тут дышать; вот к чему привели все эти гуманизмы; значит, ненавидим всякую жалость и слабость. Конечно, я упрощаю, но не очень. Полюбили Леонтьева, кто-то нашел Ивана Ильина, кто-то Леона Блуа, Беллока, Элиота, Рамиро Маэшту, а кто-то и Ницше, естественно, замечая у них главным образом «вот это». Те, кто рванулся к католичеству, восхищались кострами. Как всегда при ставке на «силу», начинался культ здоровья – словом, все, что заметил и описал Федотов в «Антихристовом добре».

Ругая Чехова, кто мог, ссылался на «Анну Андреевну»; но, я думаю, ее нелюбовь – другого рода. Может быть, она видела в нем то, что Бердяев называл пошлостью, такую двухмерность, и не совсем ошибалась – действительно, «прекрасного», которым уже так смело жили она и Мандельштам, он боялся, поскольку тогда, в его годы, оно совсем уж увязло в «красивом». Но сейчас я пишу не об этом. Чехова не взлюбили, принимая без обсуждений, что он прямо противоположен тому, что они ценят.

Утомившись от их категоричности, я радовалась, читая у Набокова, как любил и жалел Чехов особый, исчезнувший вид людей, вроде Лаевского из «Дуэли». Помните, этот гордый Набоков, холодный, такой и сякой, сумел восхититься апологией слабости. Но вот – открываем книгу Елены Толстой, и чем дальше, тем больше думаем, какое произошло недоразумение.

Елена Дмитриевна пишет, что мы найдем в ее книге «не поздний, облагороженный и расчищенный облик Чехова – столпа чахоточной гуманности, а богатырский, беспощадный, агрессивный (…), свирепоироничный и неизменно раздраженный». Книга и называется «Поэтика раздражения».

Те, кто позже стали символистами, пишут друг другу об его душевном здоровье, даже какой-то примитивности. В Риме он хочет полежать на травке, а где-то еще в Италии спрашивает, где хороший публичный дом. Много есть и об его несомненной консервативности, и о нелюбви к «интеллигенции», которой, по словам А. Дермана, он предпочитает «стальную Германию». Евреев он не любит, «народную веру» – любит, какой бы она ни была. Словом, сделать из него что-то вроде того Розанова, с какого начинает свой очерк Венедикт Ерофеев, не представляет труда.

Но Елена Толстая этого не делает. Трудно передать, как сочетаются зоркость и тонкость в ее манере, а выходит – не кукла,

не идея, но именно человек. Полупредательства, сомнения, вызов, вся наша истинная слабость. А что поверх этого? Вещи совершенно прекрасные.

Как Томас Кранмер в пьесе Чарльза Уильямса, Чехов невероятно страдает и от «левой», и от «правой» категоричности. Он пишет брату: «Я боюсь тех, кто между строк ищет тенденции и кто хочет меня непременно видеть либералом или консерватором. Я не либерал, не консерватор, не постепеновец, не монах, не индиферентист (…) Я ненавижу ложь и насилие во всех их видах». Смотрите, «ложь и насилие» – антихристово добро!

Пишет он и так: «Я уравновешиваю не консерватизм и либерализм, (…) а ложь героев с их правдой».

Так проявляется и прибывает то противостояние «лжи», которое почти угасло после Нового Завета. Да, Августин, да, Паскаль, Кьеркегор, но этого очень мало, а вера без этого задохнется. Она и задыхалась к чеховскому времени.

Читаешь и видишь, как поверх всей этой мешанины, крест-накрест, ложатся правда и милость. Она действительно есть, Чехов – не фон Корен. Вроде бы не веря в Христа, он не забыл, почему Лаевский – лучше, «из-за неспособности убивать, отвращения к насилию» (Е. Т.)

А где милость, тем более – неразумная, там уже рядом такие свойства, которые скорее назвали бы «духовными». Вот – *sancta indiferencia*, которую Елена Дмитриевна замечательно описывает, комментируя фразу «… я стал сам равнодушен, и мне хорошо». По ее мнению, здесь «равнодушие освобождающее – легкое сердце, бескорыстие, бесстрашие, (…) это стоицизм агностика, подозрительно похожий на бесстрашие глубоко, фаталистически верующего человека».

И уж совсем то, что мы считаем неотъемлемым от (Господи, прости!) русского православия: «мудрый простой дьякон» («Дуэль») и «Очаровательный священник в рясе из холстинки и ауре из блеска седых волос и запаха сухих васильков». Можно ли это знать, если не бывал в преображенном мире?

Чего же нам еще? Кому плохо оттого, что он, Чехов, жил почти без Отца? Ему, конечно. Тут и с Отцом еле вытянешь. Помню, один литовский патер говорил: «Неверующие? Это же святые люди, я бы был наркоман». Наркоманом Чехов не был, а полную, черную богооставленность – знал, к краю подошел, мнимостями не спасался.

Зинаида Гиппиус пишет: «Неужели выхода нет, другой жизни нет и не может быть, неужели Чехов – последняя точка всего искусства? (…) Мир приблизился бы тогда не к концу света, а

концу без конца, оцепенению (…) Это была бы полная победа чертакосности над миром, над Богом. Но (…) оцепенить мир ему никак не удается. Ему даже не удается справиться окончательно с самим человеком, хотя у него и нет самого действительного против черта оружия – Логоса. Но уж слишком много дано Чехову от Бога (…) и Чехов (…) все-таки слагает Божьи молитвы».

А мы слагаем? Кажется, не очень. Категоричностью, важностью, мирской бойкостью мы заслужили стишок, который я прочитала случайно, перед отъездом на аэродром:

Есть люди, их кошмарно много,
Чьи жизни отданы тому,
Чтоб осрамить идею Бога
Своим служением Ему.

Не знаю, как и в кого верит тот, кто это написал, но он хотя бы знает все страшные вещи, которые сказаны в 23-й главе у Матфея. В Иерусалиме эта глава звучит непрестанно – и в такой, кенотической форме, и голосом Писания. Теперь, кажется, я готова писать о самом городе.

Кроме Библии, никто не сумел передать то даже не «чувство», а знание, которое возникает сразу, как увидишь этот город: земля тут – святая. Честертон пытался выразить это в своих записях, составивших книжку «Новый Иерусалим». Пишет он так: «… Здесь, в легендарной стране между Европой и Азией, могло случиться все, что угодно. Через эти врата могло войти то, что и создало, и переменило мир. Чем бы еще ни казалась эта полоска земли, разуму, да и чувству она кажется мостом, который перенес через древние бездны бремя и тайну человека. Здесь были цивилизации, древние, как варварство, а то и древнее. Здесь живет верблюд, наш странный друг, доисторический домашний зверь. Никто не знает, был ли он диким, и, глядя на него, нетрудно подумать, что звери вообще были когда-то ручными. Где-то я говорил, что они – просто разбежавшийся зверинец; морская корова бросилась в море; тигр, огромный кот, сбежал в джунгли. Это неверно, так же неверно, как питекантроп и прочие выводы из сомнительных обломков кости и камня. Верно что-то третье, слишком немыслимое, чтобы человек это запомнил. Что бы это ни было, верблюд это видел; но, судя по манере нашего старого слуги, никогда не расскажет».

Да, верблюд видел, и ослик видел, и вообще все тамошние звери, даже завезенные кошки. Слова пророка: «Не бойтесь, животные» вспоминаешь часто. Всюду – плакат о зоопарке, на нем

прекраснейший тигр (когда идешь с Полянки на Ордынку, получать визу, тоже есть тигр, потолще. Шарль Пеги говорил в таких случаях: *Mais naturellement*). Земля совершенно святая, поневоле скажешь «тов» про все эти цветы, камни, садики, птиц и рыб, осликов и кошек. Честертон писал, что, если ничего не примысливать, тварный мир похож на игрушки. Тут это видно. То, что прибавил человек, ни одного раза не мешает. Ничто не берет – ни модерн, сам совершенно детский, ни новые кварталы. Казалось бы, понятно, что белые или хотя бы светлые дома среди зелени – тоже, в сущности, рай, но у нас противоположный оттенок им придают грязь, надписи, впитанный в стены дух 50–70-х годов, а там этого нет. Лестницы чистые и нарядные, как в барском доме со швейцаром, подростки ничего не портят; почему – можно подумать. У входа в дом моей подруги – розовый куст, прямо с картинки к детской английской книжке прошлого века. Садики переносят в питерское детство 30-х годов, когда само это слово было синонимом рая. Один из них, в горах, рядом с Горненским монастырем, описал разве что Пушкин своими райскими стихами, хорошо бы привести их здесь, но места – мало, каждый может взять томик из собрания.

Словом, все напоминает, что природа – такая же Божья книга, как Библия. Тут они явственно переслаиваются. Может быть, где-нибудь и забудешь, что нынешняя, недавняя, газетная судьба этих мест точно и давно предсказана, но здесь – навряд ли. Время пророков, царей и даже патриархов от нас не отделено. Такое бывает с «божественным» – помните, для Пастернака народники «отдаленней, чем Пушкин». Видимо, чем больше выходишь из времени, тем это сильней. Могилы Рахили, Самуила, Давида – как будто они только что умерли. И вот, особенно у серой могилы Самуила, где рядом раскопы, начинаешь чувствовать то, что чувствовать не хотелось бы.

Чувство (слава Богу, не «знание») – такое: Христос одинок, как в Гефсимании. Виднее всего это именно там: три огороженные оливы, а на улице, вокруг – такое убожество, такая грязь, такие наивные мошенники, словно мы в советском захолустье, да еще у рынка. В общем, одинок. Тайна иудаизма живет своей непостижимой жизнью, и не нам знать, как встретит Израиль пришедшего во славе Мессию. После Седера, о котором писать я еще не могу, у Мертвого моря, рано утром, среди олив и померанцев я читала книгу Додда о притчах, и там повторялось, что «будет» и «есть» в Евангелии как бы и совпали. У нас об этом пишет о. Георгий Чистяков. Так вот, стоит ли злоупотреблять будущим временем? Стоит ли, к тому же, изменять сокровищу православия, чувству сокровенности? Что «будет», увидим в свое

время. Почти все (или все?) сейчас и здесь, а если мы не можем рассмотреть это там, куда Бог поселил нас, увидим хоть на Его земле. Что же можно увидеть?

Глубокую авраамову веру тех, кто дождался через тысячи лет не главного, но почти немыслимого обетования. Смиренных, трудно живущих людей, которые взывают уже к Христу и обретают сравнительный покой, потому что бремя они все-таки взяли. А остальные, посланные к народам и с тайной единобожия, и с вестью о воскресении? Одну мы просто числим за собой, как будто не служим иным богам, другую – то и дело превращаем в языческие мистерии. Называя нас детьми и друзьями, Христос все-таки просил о многом, предупреждал о том, как удержаться на воде, строить на камне, жить в Царстве, где правит Бог и побежден князь мира. Впихивать Евангелие в статейку и кощунственно, и бесполезно. Честное слово, закрыв дверь, все мы знаем, что двум господам служить еще никому не удавалось.

Есть садик около холма, на срезе которого настоящий череп – глазницы, щелка рта, провал носа. Ходят сюда чистенькие англикане, остальные верят, что пустая могила с круглым камнем – та самая. Сидишь там перед Пасхой, после Пасхи и думаешь: неужели до этого дошел Твой кенозис? Тут Ты воскрес, не тут, но Ты принял все, что дает Тебе наш мир? За храм Гроба Господня убивали людей. Сейчас мы там толкаемся и спешим занять заранее место, пройти по знакомству. Мы вынуждены терпеть там «другие конфессии», но Господи, как мы их терпим! Поневоле убежишь сюда, в садик. И посмотришь на цветы. Около него в особой и очень тихой лавочке я купила открытку *Flowers of the Holy Land*.

Среди прочих (дикая слива, цикламен, адонис, ирис, мак) есть анемон, и вам услужливо скажут, что это – «полевая лилия» Вокруг их много, они всюду растут. Цвет у них – не всегда, иногда – тот самый, о котором мечтают дети, прикидывая, что будет, если свернуть в трубку радугу. Он между красным и фиолетовым, в несуществующем зазоре, его быть не может, но – пожалуйста, есть. Писать дальше я еще не готова.

Мир под оливами [9]

Если ты доверился Богу, тебе обеспечено, что желания твои не исполнятся, пока остаются кумиром. Представить страшно, что было бы, если бы меня чудом пустили в Испанию лет 20 назад. Прежде всего, я просто разорвалась бы: возвращаться – невыносимо, остаться – нельзя (родители, дети). Однако и нормальным людям в приличных странах лучше путешествовать тогда, когда они – как не путешествующие.

И странный наш опыт, и мой метафизический возраст делают хороший подарок: приехал ты куда-то, или смотришь на картинку, или читаешь – совершенно все равно. Много лет мы смотрели на картинки по принципу «зелен виноград», но тут не только это. Картинка и текст меньше дают ощутить, что преходит образ мира. Когда ты не дома, не там, где келья и кошка, время бежит уж очень явственно, «мы летим». Бег времени плох не тем, что приближаешься к старости – она лучше взрослости, и даже не тем, что приближаешься к смерти – Бог разберется, не оставит, а тем, что он свойственен владениям не скажу лишний раз кого. Из них выводят работа (особенно такая, где хаос ты сменяешь космосом, вроде перевода или уборки), молитва, жалость, иногда – общение, но не путешествие.

Пространство – тоже не подарок. «Незримая черта» мешает не только и даже не столько «близости людей», сколько отделяет нас от домов и от деревьев, напоминая, что мы – не ангелы и не преображенные тела. Поэты часто пишут, как это их мучает, и кое-чего добиваются, в стихах мы худо-бедно проходим сквозь стену. А так, гуляя по городу – малейшей мере. Жизнь в пространстве и времени лучше принять не рыпаясь, это – тоже кенозис; но ездить для этого незачем, достаточно комнаты и кошки.

Когда я вернулась, меня сразу спросили: «Правда, похоже на. Эль Греко?» Слава Богу, непохоже. Похоже на Литву, только с оливами и апельсинами, с осликами и мавританскими садами. Что бы ни говорили о культуре коня-пса-орла, связывая ее с католичеством, здесь, в Гранаде, ее нет или очень мало (на памятниках). Осел – кот – голубь в чистом виде – приземистое, белое, уютное, очень детское. В конце концов, католичество – не в одном же триумфализме! Каждый, в любом изводе христианства может умалиться, как дитя.

Есть и просто европейский город, такой модерн, что-то из *belle-epoque*. Ничто его не берет – ни новые дома, ни пронзительные рекламы. Почему-то этот стиль очень сообразен

человеку, и мы его сейчас воскрешаем. По той, по иной ли причине он создает тот самый городской уют, который приносит много радости, если ты склонен не досадовать, а благодарить.

Жители маленькой, уютной Гранады скорее благодарны. Покупает тетка клубнику и не морщится, не требует, а приветливо болтает. Мы тут же представляем, как, задерживая всех, наша тетка (или дама) подлизывается к продавщице, но ошибаемся. Никто ни к кому не подлизывается, просто перебрасываются двумя-тремя фразами и улыбками. Улыбаются – приятно, простодушно, по-южному. Гуляют, сидят на скамейках, охотно и даже куртуазно объясняют дорогу. Словом, похожи они не на *hombre masa*, а на любимого Честертоном common man. Меня спросили туг: «А индустрия порока? А вседозволенность?» Я их не видела. Молодые обнимаются (меньше, чем у нас), но это ведь всегда есть и никакими силами не изменишь, только приучишь врать.

Зато старые и даже пожилые люди могут порадовать. Они пережили и перечеркнули обе утопии. Наверное, есть и «идейные», но просто человек, который присел выпить апельсинового соку и разговорился с тобой, не идеализирует ни «свободную личность» 20–30-х годов, ни «доброго католика» долгих авторитарных времен. Лорку любят за огромный дар, за незлобивость и красоту, но руссоистский или телемский миф, некогда связанный с ним и с его друзьями, совершенно исчерпан. Вот в его музее, под стеклом, записи Висенте Алейхандре о том, каким мрачным Лорка бывал. А вот – письмо Грэма Грина, где старый разведчик уверяет, что бедный поэт был двойным агентом. Если это, не дай Бог, правда – как его жалко! Если нет – слава Богу, но трудно, страдая над этим письмом, не задуматься о несчастных адептах этой утопии, многих из которых я помню. Словом, миф, доживающий свой век у нас то в культе андерграунда, то в несколько устарелом культе Хемингуэя, там – совсем выдохся. Правда, испанцам все-таки приходилось противиться таким способом куда менее жуткой утопии порядка.

Приятно слышать, как надоела им и эта утопия. Даже верующих – меньше, чем я думала; старые люди часто оказываются неагрессивными скептиками. Если мы не спохватимся, наших детей, внуков и знакомых тоже будет мутить от сахарина. Упорные фарисеи считают, что тот, кому «это» неприятно, просто бежит от света, ибо дела его темны. Однако больше всех от такого суррогата веры мучился Христос.

Что же до мирских мечтаний о «добром порядке», «твердой руке» и т. п., стоит посмотреть их любимый фильм «От Франко к демократии».

И это Франко, не наши монстры! Испанцы любят своего короля и свою *doña Soña*. Совсем что-то честертоновское – средневековая слава монарха и полная демократия.

Были и печальные беседы, которые у нас если случаются, обретают очень зверские обертона. Многие вели себя при Франко, скажем не слишком милостиво. За пределами утопий «добрый порядок» приносит много горя, и не только «бездельникам» или вообще «плохим». Осуществляют его люди, существа ненадежные. Кто-то сажал, кто-то стучал, кто-то следил, кто-то просто старался стать первым учеником. Одни это делали по слабости, стыдясь, даже терзаясь; другие задуривали себя, оправдывая или возвеличивая. Как с ними быть, решают по-разному, но без нашей сердитой уверенности. Ответ Иоанна XXIII (если кому плохо – помогай, что бы он раньше ни делал) – оптимален, но тут не очень применим: святой папа говорил о тех, кого преследовали, а сейчас в Испании этого совершенно нет. Проблема – не общественная, а частная; таких людей, как бы они ни самоутверждались, буквально сжигают досада, жалость к себе, все то, что отец Александр Мень называл «букетом». Им поистине хуже, чем кому бы то ни было, но в том-то и суть, что обрадовать их невозможно. Хотят они, чтобы постоянно хвалили их, ругали их врагов, но очень зорко следят, не ошибешься ли. И вообще, гладить их теперь, когда они так жалки – подвиг или предательство отношению к тем, кого они мучили? Прежде, чем отвечать, вспомним Евангелие.

Конечно, наши бывшие начальники, ездившие сейчас в Гранаду (их очень мало, они старые, да и блестящие испанисты), не убивали и не сажали. Делали они ровно то, что делал советский начальник послесталинских времен. Они и обижены, и хвастливы, но не злобны, даже как-то слишком приветливы. Один из троих – круто-православный и уверен, что всегда им был. Хорошо, что они с почти детским удовольствием воспринимают маленькие радости; к этому или к чему другому относится, что они безостановочно пьют?

Однако старость, наш земной суд, бывает и другой. Человек под восемьдесят (наш, не испанец) сказал мне среди кошек и цветов, в садах Хенералифе, что совершенно счастлив и за все благодарен. Обычных приговариваний о том, что «в сущности, я всегда был христианином», я от него не слышала. Проговаривания эти прекрасно уживаются с «букетом» или просто с себялюбивой раздражительностью. Только у двоих из говоривших там со мной были сокрушение и благодарность. Те, кто «всегда был христианином» (чаще это – в женском роде) недовольны Богом и ближними, довольны собой. Не нам их

судить, среди церковных этого не меньше.

Среди испанцев все-таки обнаружилась сумасшедшая на церковный лад. Под праздник св. Иоанна Божия, «сопокровителя Гранады», как бы помощника Девы Марии Печальницы, одна старушка подожгла заранее припасенный мусор. Она забыла, что св. Иоанн – покровитель пожарных, и всесожжение не состоялось.

La sua voluntade[10]

Обижать людей нехорошо по разным причинам; прежде всего, их жалко. Если мы думаем, что жестокость наша – во спасение, это вообще ужасно, и надо бы в миллиардный раз написать об этом. Однако сей речь – о другом, менее важном, даже немного шкурном: если обижать людей, они рано или поздно отомстят или хотя бы захотят отомстить отнюдь не по закону «око за око». Как всегда и бывает в *ordo naturae*[11], они до бессмыслицы перегнут палку, это вызовет ответ – и так далее, и так далее, борьба Сциллы с Харибдой.

Смотрите, секли детей, орали на подростков – и что же? Какой-то всемирный «Повелитель мух». Нет, речь не о том, что сейчас дети и подростки хуже, но они «в своем праве», они знают, что любой мало-мальски ответственный человек – тиран и мещанин. Что говорить, попытки скрутить их силой не исчезают, оба зла умножаются. И так в падшем мире всегда.

Обижали и женщин. Пока выхода не было, они терпели, медленно накапливая досаду, а значит – и ту искаженную, просто бесовскую справедливость, которая выражается фразой: «я не хуже тебя!». Ребенок начинает свой бунт, когда это чувство больше страха. Так случилось и с женщинами.

Теперь наши разборки – на уровне вышеупомянутой фразы, а на этом уровне опровергнуть их нельзя. Справедливость *per abusum*[12] – это все-таки справедливость, и бегать по замкнутому кругу можно бесконечно. Прорвем мы его, выйдем на другой уровень только тогда, когда сменим «Сказку о рыбаке и рыбке» на «Что муженек ни сделает, все хорошо».

Спешу оговорить, что притчей Андерсена хочу иллюстрировать не повиновение мужу. Это – вещь хорошая (конечно, удобопревратная), но сейчас речь не о ней. Как вы помните, бабка у Пушкина была постоянно недовольна, католики сказали бы, что она грешила против благодарности. Все ей мало, включая высшую мирскую власть – судя по черновикам, она хочет быть Римскою Папою. Вероятно, и это бы ее не удовлетворило. Такая бочка данаид – верный симптом страсти.

Жена у Андерсена – мастер благодарения. Это мог быть не муж, а кто угодно, а по сути – Божий промысел. Она и бабка – образы евангельской и мирской душ. Подумаем об этом, образы очень точны.

Как всякую притчу, сказку Андерсена не стоит толковать «расширительно». Она говорит *только об одном*. Конечно, есть вещи или обстоятельства, принимать которые кощунственно.

Покорность Промыслу тоже бывает *per abusum* – но сейчас речь и не о том.

Если главное для нас, женщин – не самоутвердиться, а что-то другое, подумаем, нет ли в нашем мятеже какой-то несообразности. Слава Богу, вправе думать и я, все-таки я женского пола, и думы эти привели меня к выводам, о которых стыдно писать, так они просты.

Один священник сказал недавно, что в молодости очень хотел понять, какие грехи у женщин. В сущности, это ясно и коту: Сцилла наша – властность, Харибда – особая тонкая энтропия, перед которой неряха и даже распутник покажется чистеньким скаутом. Каждому знакомы наши атрибуты, отравляющие всем жизнь: *a la* Люцифер (злость, поджатые губы, беспощадная забота) и *a la* Ариман (грязь, ватки в лосьоне, волосы на щетке). Современная женщина это удачно сочетает.

Куда ж нам еще лезть? Нам бы держаться на узком пути, между Сциллой и Харибдой. Опасна бездна Тиамат? Значит, каждую секунду надо «ставить туфельки ровно», прибирать за собой и за другими. Опасна искренняя вера, что ты, ты сама – «всяческое во всем»? Значит, надо очень следить за собой, слушаться, со всеми считаться, сохранять приветливость (не сахарную сладость, оборотную сторону жесткости а, именно приветливость). На это уйдет столько молитв и сил, что будет не до Римской Папы.

Стоит помнить очень важный закон: противоположность всех Сцилл и Харибд, Люциферов и Ариманов – совершенно мнимая. Битва их бессмысленна, они прекрасно подружатся, как Пилат с Каиафой. Если бороться в себе и с той, и с другой, вдруг окажется, что ты стремишься к тем самым свойствам, которые обычно привлекают в женщинах – к жалостливости, смирению, скромности, кротости, тихости. Да тут не до Римской Папы.

Nota bene. Кроме, может быть, слова «тихость» (такое свойство иначе описывается в обоих Заветах), все эти слова давно и крепко вошли в фарисейский новояз, где значат совершенно мерзкие вещи, прекрасно сочетающиеся не только со Сциллой, но и с Харибдой. Пример – нынешний муляж «истинно-церковной жены и матери» у наивных монархистов, подозрительно похожий на «положительный женский образ»

конца 40-х – начала 50-х годов, сменивший и «своего парня» 20-х, и физкультурницу 30-х.

Конечно, все эти соображения никак не помогут «возвысить себя», а значит – вызовут искренний протест. Кто-нибудь тут же напомнит про эллина и иудея. Стоит ли снова что-то объяснять? Вряд ли; ведь страсть не победить доводами. Скажем напоследок

одно: те, кто принял Новый Договор с Богом и те, кто не принял, рожают так же, как раньше. На этом уровне все осталось по-прежнему. Беременная женщина все-таки немножко беззащитней, и сила ее ближе к терпению, чем к мужеству.

Хорошо, в падшем мире – Сциллы, Харибды, суррогаты. А бывает что-нибудь еще? Бывает; и это – заведомо безгрешная женщина. Кто-то говорил, что для поверки тех или иных свойств или действий стоит приложить их к Иисусу Христу – могло так с ним быть или не могло? Приложим и здесь, к Его Матери. Могла Она убирать, наводить чистоту, поддерживать то окно в рай, которое называется семьей? Несомненно. Могла ли кричать на родных? Тут и гадать не надо; прочитаем, как тихо, едва не почтительно говорит Она с двенадцатилетним сыном. Жан Ванье сказал, что, в отличие от нас, у Христа нет и быть не могло той травмы, которую наносят родители.

А вот что никак нельзя вообразить – такой ситуации, где Мария (Господи, прости меня!) – начальник в каком бы то ни было смысле слова, Она Царица – но Небесная, в том *ordo*, где нет отношений власти.

Чтобы кончить помягче и потише эту мракобесную статью, приведу напоследок слова современного доминиканца, отца Саймона Тагуэлла о маленькой Терезе. «Она восхищается тем, как просто жила Дева Мария: «Ни озарений, ни восторжений, ни чудес, чтобы раскрасить жизнь…» Вот оно, любимое Честертоново «сияние серого цвета, в котором лучше всего видны камни Нового Иерусалима.

Один английский баронет пишет, что в июне 1936 года (того года, заметим, который начался смертью Георга V) к ним в класс прибежал учитель словесности и сказал: «Умер Честертон. Теперь наш лучший писатель – Вудхауз». Были живы Шоу и Уэллс, не очень стар Моэм, сравнительно молоды – Пристли и Хаксли; наконец в старших классах «престижной школы» могли вспомнить Т. С. Элиота и Вирджинию Вульф. Однако ученый англичанин, как Хилер Беллок, считал самыми лучшими этих скромных и смешных людей.

Может быть, тем, кто стосковался по таким качествам, будет приятно узнать, что они думали о смехе.

Наталья Трауберг

Глава IV
Переводы

Г. К. Честертон
Смех [13]

Если мы предложим поговорить о смехе, наши собеседники откликнутся одним из двух способов. Одни засмеются, и поступят совершенно правильно, потому что практика лучше словопрений, а человек, вздумавший написать о смехе статью, действительно смешон. Но если у них хватит ума засмеяться, у них, я думаю, хватит ума и уйти – так что спор наш не состоится, или, точнее, мы только на секунду скрестим шпаги слов.

Если же собеседники не засмеются сразу, они сделают вот что: состроив яростно-серьезную и мрачную гримасу, они примутся толковать о первобытной психологии и безусловных рефлексах питекантропа; а проболтав так месяц-другой, придут к выводу, что «смех, в конечном счете, можно возвести к одной из разновидностей инстинкта жестокости». По нынешнему обычаю, они употребят научные термины как можно менее точно. Инстинкт жестокости доказан не лучше, инстинкт жевания стекла. Некоторые сумасшедшие жуют стекло; жевали его и выдающиеся люди – кажется, небезызвестный сэр Ричард Грэнвил увлекался этим. Некоторым людям свойственно извращение, называемое жестокостью; но если мы скажем, что первобытный дар смеха развился из этого извращения, мы ничего не объясним. С таким же успехом можно возвести поэзию к первобытному увлечению наркотиками. Конечно, все эти полунаучные, скороспелые теории никак не связаны с серьезной наукой, но они построены на весьма конкретном нравственном (или, точнее, безнравственном) основании. Они хотят убедить нас, что человек унаследовал все свои черты от сомнительного существа, называемого питекантропом, и что этот питекантроп, до отвращения отсталый, томился во тьме злобы и страха.

Такая теория поистине смехотворна. Вы можете рассмешить ребенка самой простой нелепицей – например, если наденете очки плюшевому мишке. Неужели нам предлагают поверить, что в пещере детской головки просыпается троглодит, наслаждающийся мучениями непривыкшего к очкам медведя или терзаниями близорукого дядюшки, на время лишенного очков? Больше всего дети смеются от нелепиц, вроде знаменитого стишка о корове, перепрыгнувшей через луну. Неужели мы должны считать, что они радуются страданиям теплокровного млекопитающего в холодных космических просторах? Без сомнения, необычность, нелепость ситуаций развеселит их

гораздо раньше, чем они подумают об ее неудобствах. Почему нелепость веселит – вопрос глубокий, и мы не ответим на него, если не взглянем совсем иначе на человеческую историю. Мы ничего не поймем, если у нас не хватит терпения уважать тайну многих тайн, и ждать просветляющих, а не затемняющих объяснений. Пока что позволю себе предположить, что это связано скорее с достоинством, чем с низостью человека.

Удивительно ли, что век, умудрившийся свести смех к мраку и злобе, утерял дар смеха? В нашей литературе и искусстве, может быть, больше юмора, но смеха в них меньше. По вине ли недоброй теории или чего другого, веселье стало печальней, стало суше, если не злее. В наше время не возражают против улыбки, но терпеть не могут смеха. Разница между улыбкой и смехом сводится к трем пунктам. Во-первых, улыбка легко переходит в усмешку. Во-вторых, улыбка – дело частное, даже субъективное, а смех совместен и объективен; может быть, смех – один из последних пережитков свободной воли. И наконец, смех беззащитен, смешон, человечен до смирения. Нашу стадию культуры можно определить так: люди улыбающиеся критикуют людей смеющихся. В любом современном романе вы прочитаете: «Григсби вздернул подбородок и высокомерно улыбнулся». Но долго придется вам искать роман, в котором написано: «Григсби откинул голову и высокомерно захохотал». В ту минуту, когда Григсби настолько забудет о своем достоинстве, что захохочет, он потеряет хоть часть своего пресловутого высокомерия, за которое его так ценят в лучшем обществе и так хотят отлупить в худшем. Ошибается тот, кто думает, что в мире стало меньше жестокости с тех пор, как стало меньше старых добрых драк. Просто теперь только Григсби имеет право на жестокость, а люди попроще и посмирнее не имеют права побить его. В уме улыбающегося Григсби во много раз больше жестокости – больше злости, попросту говоря, – чем в душе замахнувшегося сапогом Уэллера или пишущего книгу Диккенса. В том-то и дело, что смягчение манер не смягчило чувств. Приходится признать, что в наши дни и в помине нет того дружелюбия, которое звенело в грубом кабацком хохоте. В те времена люди могли, конечно, невзлюбить чужака или изгоя. Но друг друга они любили куда сильнее, чем наши интеллектуалы. В стране бретгартовских головорезов, размахивающих ножами и пистолетами, или в погребке, где м-ра Бардла треснули бутылкой по голове, было больше чувств, или, если хотите, сантиментов, чем в наших интеллектуальных кружках, где души одиноки, как головы в дантовом аду, вмерзшие в лед. Да, в споре Улыбки и Смеха я – на стороне Смеха. В нем сохранилось что-то от древних уз вдохновения и веры, он

размораживает гордых, рассеивает мрак тайны, и люди забывают о себе перед лицом того, что выше их, – того, перед чем они не могут устоять. Святой любит хорошие вещи, и отказывается от них; сноб – принимает их и презирает. Но когда он услышит что-нибудь уж очень хорошее, даже он не может сохранить презрение. В этом чудовищном случае даже он, сноб, не улыбается, а хохочет.

П. Г. Вудхауз
Несколько слов о юморе [14]

Внимательный читатель, конечно, заметил, что рассказы мои, в сущности – юмористические; и теперь самое время предложить ему очерк о юморе, который просто обязан рано или поздно написать каждый член нашей гильдии.

В XVI веке «юмор» определяли как «смущение в крови» и, хотя делали это, скорей всего, из вредности, не так уж ошибались. Правда, я бы сказал «смещение». Чтобы стать юмористом, надо видеть мир не в фокусе, другими словами – страдать небольшим косоглазием. Тем самым, вы относитесь несерьезно к очень важным установлениям, а люди хотят в них верить и тоже смотрят на вас искоса. Статистика говорит нам, что 87,03 % косых взглядов обращены на юмористов. Солидный человек все время боится, как бы мы чего не выкинули, словно нянька, чей питомец проявляет склонность к преступности. Возникает та напряженная неловкость, какая царила в замке, когда по нему бродили шуты. Полагалось их как-то использовать, но особой любви они не вызывали.

– И что он порет? – шептал жене король или, скажем, граф. – А ты еще его подначиваешь! Вот утром, с этими воронами…

– Я просто спросила, сколько ворон уместится в жилете бакалейщика. Так, для разговора.

– А что вышло? Звякая, как ксилофон, он покрякал – ненавижу эту манеру! – и ответил: «С утра – добрая дюжина, а если светит Сириус – поменьше, роса вредна при цинге». Ну, что это такое?

– Это юмор.

– Кто тебе сказал?

– Шекспир.

– Какой еще Шекспир?

– Ладно, Джордж, успокойся.

– В жизни не слышал ни про каких Шекспиров!

– Хорошо, хорошо. Неважно.

– В общем, ты ему скажи, чтобы он ко мне не лез. А если еще раз треснет этим поганым пузырем, я за себя не отвечаю.

Юмористы чаще всего – люди мрачные. Причина в том, что они ощущают себя изгоями или, скажем так, экземой на теле общества. Интеллектуалы презирают их, критики – кое-как терпят, ставя вне литературы. Люди серьезны, и на писателя, не принимающего их всерьез, смотрят с подозрением.

– Вам все шуточки, а Рим-то горит! – укоризненно замечают они.

Лучше бы жалеть юмористов, лелеять, они ведь очень ранимы. Огорчить вы их можете в одну секунду, спросив: «Что тут смешного?», а если все-таки засмеялись – сказав, что они, в конце концов, «просто юмористы». Слова эти бьют их наповал. Засунув руки в карманы, выпятив губу, они поддают ногой камешки, сопоставляя свою участь с участью бродячей собаки.

Вот почему в наше серое время трудно найти смешной рассказ, не говоря о пьесах. Драматурги соревнуются в мрачности. Поскольку десять пьес из двенадцати с треском проваливаются, можно предположить, что они неправы. Если бы поступившись весом важностью, они стали помягче и повеселей, всем было бы лучше. Нет, я не против кровосмешений и безумия, но всему – своя мера. Смех тоже не повредит.

В театре давно уже не смеются. Там слышишь только тихий, свистящий звук, который издают встающие дыбом волосы, да резкое кряканье, когда актеры произнесут одно из тех коротких слов, какие прежде употребляли в кабаках низшего пошиба. Вспомнить смешно, что когда слово «черт» впервые прозвучало на Нью-Йоркской сцене (если не ошибаюсь, в пьесе Клайда Фитча), поднялось Бог знает что, вызвали полицию, а может – и войска.

Конечно, переход будет медленным и нелегким. Поначалу, услышав смех, зрители решат, что кому-то стало плохо, и зашепчутся: «Врача, врача!» Но понемногу привыкнут, и мы снова ощутим в зале не похоронную атмосферу, а что-то более приятное.

Самый печальный юмор в наши дни, я думаю, русский. Чего вы хотите? Когда живешь в стране, где всю зиму надо тереть снегом посиневший нос, особенно не разрезвишься, даже при помощи водки.

Хрущева, по-видимому, считали заправским шутником (тот, кто так не считал, живя при этом в Москве, таил свои чувства), но ограничивался он эйзенхауэровской шуткой о гольфе и русскими поговорками. Если есть на свете что-то безрадостней русской поговорки, прошу мне об этом сказать. «У нас, – сообщал он своим соратникам, – говорят: курица переходит дорогу, а умный человек боится разбойников». Тут лицо его трескалось поперек, глаза исчезали, как устрицы, когда их тушат – и соратники догадывались, что если на секунду запоздают со смехом, следующая их работа будет в Сибири. Может быть, придет время, когда Россия обратится к историям о муже и жене или двух ирландцах на Бродвее, но я в этом не уверен.

Перечитал – и заметил, что, по забывчивости, так и не

определил, что такое юмор. (Авторы и лекторы вечно спрашивают: «Почему мы смеемся?» Если я отвечу, хорошенький у них будет вид!) Итак, определить я забыл. Лучше приведу слова из книги д-ра Эдмунда Берглера «Чувство юмора».

Вот, пожалуйста: «Смех – защита против защиты. Обеими реакциями мы обязаны неосознанному эго. Жестокость суперэго снимается тем, что мы обращаем кару в удовольствие. Суперэго упрекает эго и за такую подмену, а это создает новую защиту, образуя тем самым триаду, в которую входит смех».

То есть как – непонятно? Ну, знаете! Молодец, Эдмунд. Так и держи, и не дай тебе Бог засмеяться.

* * *

Отец Саймон – нынешнее светило Ордена Проповедников.

Начиная с самого св. Доминика (†1221), через св. Фому (родился через четыре года, а по другим предположениям – через пять лет), так и идет какая-то цепочка светильников. Поражают они не только мощью ума – это профессиональная необходимость, а раз надо, Бог дает – но и какой-то особой бесстрашностью, евангельской свободой. Правда, corruptio optimo pessima – именно доминиканцы в страшной Испании XVI века совершенно не по-христиански покусились на дух других людей, и оправдать этого нельзя, можно только каяться.

Потом бывало разное, и в XVIII веке цепочка едва светила, но, начиная с Лакордэра (1802–1861), сверкает вовсю. Отец Тагуэлл преподавал в Оксфорде, сейчас он – в Риме, в Папском Институте св. Фомы Аквината, который называют «Angelicum». Занимает он и «важный пост» в ордене, ведает всеми его архивами. Когда он еще был в Англии, летом 1983 года, отец Жак Лев передал старой русской доминиканке запись его бесед о блаженстве, и очень скоро их перевод уже ходил в самиздате. Когда первые четыре экземпляра (столько закладывалось в машинку) пошли по Москве, буквально сокрушая – одних, выводя из себя других, не подозревавший об этом Тагуэлл кончил и выпустил книгу «Пути несовершенства». Простота и истинность его слова поражают, в самом прямом смысле. Примеров – много. Но что говорить, читайте сами.

Наталья Трауберг

Саймон Тагуэлл
Отцы – пустынники [15]

Не совсем ясно, как и когда возникло христианское монашество, но миф о том, что началось оно в Египте со св. Антония (†356) и других пустынников, верен хотя бы в одном: именно к ним обращались за вдохновением следующие поколения монахов. Кассиан, истолковавший Египет для Запада, и довольно бесформенное собрание историй и речений, известное под именем «Патериков», питали монахов и всех тех, кто хотел вести истинно христианскую жизнь. Даже там, где нет прямых отсылок, нетрудно угадать влияние пустынников. Например, в житиях ирландского монаха Канисия два примера послушания взяты, без всякой ссылки, из патериков. К тому же источнику восходят бесчисленные примеры средневековых проповедников, и те же самые отцы побудили Екатерину Сиенскую стремиться в юности к отшельнической жизни.

Однако если мы хотим понять, что именно подчеркивали пустынные отцы, нужно вернуть их в истинный контекст. Тогда мы увидим, что они не основали ничего совершенно нового, но, в немалой мере, отозвались на ситуацию, которая восходит к очень ранней церкви.

Уже апостол Павел говорит, что безбрачие помогает отдать все Богу, не рассеиваясь на семейную жизнь. Конечно, это в немалой мере способствовало христианской аскезе. С этим связано представление о «браке с Христом», исключающем всякий другой брак. Связано с этим и умозрительное мнение, что уйдя из жизни среди людей со всеми ее сложностями, мы преодолеем разделения и сложности в себе, станем «едиными» (вполне возможно, что именно это означало слово «монах»).

Иногда желание сосредоточиться только на Боге было связано с представлением, что Христос снова дал нам возможность жить так, как должны жить Адам и Ева в раю. Вероятно, по этой причине некоторые аскеты не ели ничего «искусственного», то есть выращенного и приготовленного. Кое-кто просто ел траву; другие, по-удачливей, кормились, как Илия, при помощи ангелов. По той же причине многие монахи считали, что нельзя работать, поскольку работа – удел падшего человека. По-видимому, целью их была постоянная молитва в самом буквальном смысле слова.

Уходили из мира и для того, чтобы трудиться только для Бога. Можно предположить, что апостолы из «Дидахе» были безбрачны и бедны хотя бы потому, что постоянно странствовали.

Когда, по какой бы то ни было причине, слабеет ощущение апостольской миссии, странничество напоминает, что мы – странники, пришельцы на земле, не имеющие «постоянного града», пока не достигнем Небесного Иерусалима. Прекрасный текст персидского отца Афрахата толкует жизнь аскезы в тех понятиях, которые Второзаконие (гл.20) применяет к воинам Господним.

Какие бы мотивы не действовали в том или ином случае, какие бы образы не сосредоточивали воображение, к IV-му веку много людей, в разных местах, решили уйти из мира. Все они стремились к жизни, независимой от обычных, мирских установлений. Возможно, в этом смысле, некоторые из них полагали, что «стерегут стены». Пришествие Христа поставило перед людьми главный вопрос: что значит «быть человеком?». Уже недостаточно принять ценности и стремления среды, строя представление о себе. Вопрос другой: «Что такое человек, каким его замыслил Создатель?»

Не захочешь, а почувствуешь, что странные формы аскезы – это опыты. Аскет как бы спрашивает: «Попостимся неделю и посмотрим, что будет» или «Привяжем себя к скале и посмотрим». Доводя человеческую природу до крайности, можно открыть, какова же она.

Конечно, особенно странные аскеты привлекали любопытство. Удивляет другое: многие из них обретали большой авторитет. По-видимому, полностью отказавшись от обычной человеческой жизни, они являли людям и совершенно иную власть, способную повлиять на дела этого мира. По меньшей мере, им приписывали власть сверхъестественную, которую они использовали обычно, чтобы поддержать беззащитных и бедных, исцелить больных, изгнать бесов. Верили в то, что они особенно связаны с Богом, а значит, – несут нам Божью истину; поэтому их мнения ждали в богословских спорах.

Когда мы обращаемся к монашеской словесности Египта, властный, харизматический монах отступает в тень. Дело не только в социальных и географических условиях – египетское монашество осознанно противится харизматикам. Хотя известно, что и там некоторые монахи играли ту же роль, что эксцентрические чудотворцы, о которых мы читаем, например, у Феодорита, все же большая часть египетских монахов отвергала эту «модель».

Одно из лучших описаний «публичного святого» мы находим у Евагрия Понтийского, который говорит о бесовском искушении тщеславия. Египетские монахи заподозрили, что аскеза и чудотворство искушают не меньше, чем общественное служение,

и решили, по их словам, что незачем разрушать свой дом, чтобы построить чужой.

Именно поэтому египетское монашество так подчеркивает добродетель смирения. Евагрий говорит: «Аскеза со смирением хороша, аскеза без смирения опасна». А другой отец прибавляет: «Лучше смиренно пасть, чем гордо преуспеть».

Выше всего монахи Египта ставили познание самого себя. Снова и снова учат они, как надо «следить за собой» и описывают добродетель «трезвения», под которым понимается способность определить, что с тобой происходит в данную минуту.

Только так мы поймем, почему они порой как-то небрежно относятся к нравственности. Забота их не о том, чтобы человек поступал правильно, а о том, чтобы он правильно видел, избавляясь тем самым от той искаженной перспективы, которая лежит в основе всех наших грехов.

Например, мы читаем об одном монахе, который держал у себя в келье женщину. Пошли слухи, другие отшельники решили его изгнать, но авва Аммон, навестив кого-то из них, попросил, чтобы ему разрешили пойти с ними. Заслышав их шаги, распутный монах спрятал женщину в большой кувшин. Монахи никого не нашли и удалились, прося прощения. Аммон же сказал виновному: «Брат, следи за собой», больше ничего.

Речь идет не о тех или иных случаях, когда человек согрешил, а о неумении следить за собой, видеть себя. «Именно это – корень всякого зла», – сказал один монах.

Отцы-пустынники боятся отвлеченной, воображаемой духовности, никак не связанной с жизнью. «Если увидишь юношу, восходящего на небо по своей воле, схвати его за ногу и стяни вниз». Нехорошо идти на небо, потому что тебе так вздумалось. Если нет прочной основы – полного реализма, любые духовные взлеты обернутся пустым мечтанием.

Молодой монах пошел к авве Пафнутию, потому что ему как-то не сиделось в пустыне – он думал, что ничего не добился. Авва Пафнутий сказал: «Сиди в келье, молись по одному разу утром, вечером и ночью. Когда хочешь есть – ешь, когда хочешь пить – пей, хочешь спать – спи. И оставайся в пустыне». Монах не успокоился. Нетрудно представить, как он говорил себе: «Разве это жизнь для пылкого христианина?» Он пошел к авве Иоанну, который подтвердил совет Пафнутия, только прибавил: «Не молись, просто сиди в келье». Наконец монах пошел к авве Арсению, который сказал ему делать то, что советуют первые отцы.

Суть ясна. Ты не можешь поистине молиться, не говоря уже о какой-то особой «духовности», пока не сумеешь жить, где ты есть.

Просто живя в келье, ты увидишь себя самого, твои настоящие, истинные нужды и способности. Нельзя поститься с пользой, вообще ограничивать пищу, питье и сон, пока ты не узнал, в чем ты действительно нуждаешься.

Если нет вот этого основания: ты не знаешь себя, не умеешь видеть то, что ты есть – ты никак не можешь помочь людям. Вот очень типичный рассказ о трех братьях. Все они хотели жить, как истинные христиане. Один пошел помогать больным, другой стал мирить враждующих, третий удалился в пустыню. Через некоторое время двое первых признали, что у них ничего не выходит. Они пошли к третьему брату, монаху, и он разыграл перед ними притчу: налил в миску воды и посмотрел в нее. Сперва в ней ничего толком не отражалось, потом вода улеглась, отразились их лица. Вот, объяснил он, пока вы не обретете мира, вы не увидите себя и не узнаете, в чем вы неправы. Подразумевается, что без этого невозможно помочь другим.

Иногда кажется, что пустынники скорее избегают той ответственности, которую налагает братская любовь; на самом же деле, они просто поняли, что спеша кого-то облагодетельствовать, скорее навредишь, чем поможешь. Авва Матой говорит: «Когда я был молод, я решил творить добро. Теперь, когда я стар, я вижу, что не сделал ни одного доброго дела». Авва Пимен, в том же самом духе, советует другому монаху поселиться там, где он «не повредит ближнему».

Это совсем не значит, что пустынники просто вычеркнули милосердие. Сам св. Антоний учил, что жизнь и смерть зависят от ближних: приобретем брата – приобретем Бога, обидим брата – обидим Христа. Но такую любовь лучше всего проявлять очень просто и прямо, а не в суете опеки. Этикет пустыни требовал накормить любого гостя и поесть вместе с ним, это ставилось выше поста. Кассиан рассказывает, как он еще с одним монахом пришел к старцу, и тот предложил им поесть. Они и так много съели (видимо, у других братьев), а старец сказал, что сам уже ел шесть раз, с каждым гостем.

Самым важным проявлением любви считалось то, чтобы никто не вмешивался в чужие дела, а главное – не делал замечаний. Даже если он видит, что можно сделать лучше, нельзя этого говорить, пока не спросят; Мало того: если ты видишь, что кто-то грешит, смирись перед Богом и молчи. Однажды авва Исаак пришел в одно место, где обитало несколько братьев, и осудил – молча, в сердце – одного из них. Когда он вернулся к себе, дверь преградил ангел, который сказал: «Господь послал меня спросить, что Ему делать с братом, которого ты осудил».

Такая терпимость должна или хотя бы может обратить

грешника. Например, из рассказа об авве Макарии Великом мы узнаем, как обращаться с языческими жрецами. Он шел в какой-то город с одним учеником и послал ученика вперед. Тот встретил жреца и оскорбил его. Жрец убежал и вскоре повстречался с Макарием, и. тот сказал ему: «Помоги тебе Бог, ты совсем запыхался!» Пораженный такой учтивостью, языческий жрец обратился и стал монахом.

Когда одного жреца выгнали за какой-то грех, авва Виссарион ушел с ним, говоря: «И я тоже грешник». Монах должен думать о своих грехах, а не судить чужие.

Должен он терпеть и чужую слабость. Однажды заспорили о том, что нужно делать, если кто-нибудь уснет в церкви. Авва Пимен сказал: «Положить его голову себе на колени».

Такая мягкость, на взгляд пустынников, причинит гораздо меньше вреда, чем агрессивная помощь. Египетская традиция не велит учить друг друга. Если кто-то попросит объяснить тот или иной стих из Писания, лучше ответить: «Я и сам не понимаю». Если кто-то скажет то, с чем ты несогласен, не спорь, а скажи: «Тебе виднее». Если кто-то захочет стать твоим учеником, не назидай его, а будь ему примером. Захочет – последует (Конечно, это очень отличается от уклада монашеских общин, но и там «послушание» развилось постепенно).

Даже пример, и тот бывает опасен. Авва Исайя вспоминает, как пошел с шестью братьями к авве Сысою, чтобы тот им что-нибудь сказал. Сысой отказался, прибавив: «Вы уж меня простите, я человек неученый». Однако потом он все-таки поведал, как ходил к авве Гору, за тем же самым, а тот сказал: «Смотри на авву Афру и делай то, что он».

Именно этот обычай помог монашеской словесности, всему их преданию. Ссылаясь на кого-то другого, можно передавать учение, ничего не приписывая себе. Но и тут появились опасности: некоторые стали собирать речения монахов и хвалиться ими. И вот авва Феликс отказывается сказать хоть слово, ибо оно, неровен час, будет тешить чье-то тщеславие. Может быть, поэтому предание стало безличным, затвердело в правила, за которые никто не отвечал.

Монаху запрещалось вмешиваться в чьи-то дела, но вменялось терпеть, если пристают к нему. Вот поразительный пример из аввы Исайи. Кто-то принес рыбу авве Гору и авве Афре. Афра стал ее резать, когда Гор его позвал. Он оставил нож в рыбе и вышел. Сысой спросил, где научился он такому послушанию. «От Гора», – ответил Афра, и в доказательство сварил рыбу плохо, она вся рассыпалась. Он понес ее Гору и спросил: «Хорошая рыба, отец?» Гор ответил: «Очень хорошая». Другой кусок он сварил

хорошо, отнес и сказал: «Прости, отец, я ее испортил», а Гор отозвался: «Да, испортил немного».

Таких историй сколько угодно, суть – все та же: пусть каждый делает, как хочет, не трогай его. Полную готовность подчиниться считали лучшим путем к святости.

Поверхностный читатель может подумать, что монахи, прежде всего соревновались в аскетической суровости и вели фантастические битвы с бесами, но это не так. Суровость к себе, что бы не значила она у первых аскетов, не считалась путем к «сверхчеловеку» и не была идеалом. Она очень твердо подчинялась более важным ценностям – смирению и милосердию. Так, Илларион говорит, что монахом он не ел мяса, Епифаний – что монахом он никого не оставил обиженным на ночь и сам, завершая день, не был обижен ни на кого. Илларион признает, что это намного выше.

Точно так же и битва с бесами. Драматические экзорцизмы, как и всякое чудотворство, считали поводом к тщеславию. Св. Антоний мог предвидеть будущее, но не хотел об этом говорить. Мало того, он учил не пленяться тем, кто воскрешает мертвых, но не может обуздать собственного гнева.

Как-то к авве Пимену пришел знатный чужеземец, Пимен молчал. Гость вышел и спросил ученика, в чем дело. Тот спросил Пимена, и Пимен ответил: «Он говорит о делах небесных, а я – человек земной». Гость сказал: «Авва, что мне делать, меня борют страсти», и Пимен признал: «Теперь ты говоришь хорошо».

Значит, вот в чем наше дело. Высшее само о себе позаботится; мы должны справляться с непорядком в наших душах. Там встречаем мы бесов и побороть их сможем, если встретим лицом к лицу, честно разбираясь в наших мыслях и помыслах.

Египетские монахи недолюбливали «мистику», резонно отвергая наивную страсть к сверхъестественному. Целью их было свести нас на землю, а не возвести на небо. «Если у тебя есть сердце, – говорит авва Памва, – ты спасешься». Это – самое главное. Неважно, много ли ты делаешь; важно, чтобы ты был человеком. Спасение предназначено реальным людям, а не вымышленным святым.

notes

Примечания

1

Впервые эссе было опубликовано: «Страницы: богословие, культура, образование», 3 (1998), стр. 624–625, затем: «Невидимая кошка», М., 2006, стр. 42–45.

2

Впервые эссе было опубликовано: «Страницы», 3 (1998), стр. 625–626, затем: «Невидимая кошка», стр. 45–47.

3

Впервые эссе было опубликовано: «Страницы», 3 (1998), стр. 624–625, затем: «Невидимая кошка», стр. 42–45.

4

Еще на «тихих» и бойких, но это к делу не относится.

5

Впервые эссе было опубликовано: «Страницы», 5 (2000), стр. 605–608.

6

Публичная лекция в ББИ 14 марта 2002 г.; «Страницы», 7 (2002), стр. 596–601; «Невидимая кошка», стр. 106–114.

7

Впервые эссе было опубликовано: Питер Крифт «Небеса, по которым мы так тоскуем. Три толкования жизни» М.: ББИ, 2002, стр. 249–259, затем: «Невидимая кошка», стр. 124–134.

8

Впервые эссе было опубликовано: «Страницы», 3 (1998), стр.104–111; затем: «Сама жизнь», СПб., 2008, стр. 139–151.

9

Впервые эссе было опубликовано: «Страницы», 4 (1999), стр.280–282, затем: «Сама жизнь», стр. 153–158.

10

Впервые эссе было опубликовано: «Страницы», 4 (1999), стр. 284–286.

La sua voluntade досл. «Его воля». Слова по «Божественной комедии» E la sua voluntade e nostra pace (иногда цитируются как en la Sua voluntade … – «Его воля», или «в Его воле» наш мир, один из переводов «Воление Его покой для нас»).

11

Ordo naturae – порядок естества, собственно этот падший мир, подвластный своему князю, в отличие от *ordo gratiae*, где правит Бог (Царство Божье).

12

Per abusum – «в искажении». Католическое нравственное богословие использует этот термин, как и его синоним «per exessum» – «в преизбытке».

13

Впервые эссе было опубликовано: «Страницы», 3 (1998), стр. 307–309.

14

Впервые эссе было опубликовано: «Страницы», 3 (1998), стр. 309–311.

15

Впервые эссе было опубликовано: «Страницы», 3 (1996), стр.121–126.